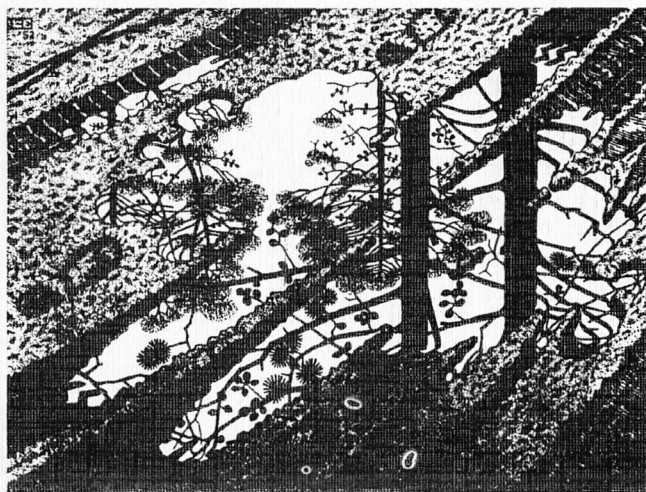


Петер Сихровски

РОЖДЕННЫЕ ВИНОВНЫМИ



**Исповеди детей
нацистских преступников**

Петер Сихровски

РОЖДЕННЫЕ ВИНОВНЫМИ

**Исповеди детей
нацистских преступников**

Перевод с немецкого
Р. Горелик

КОМПЛЕКС-ПРОГРЕСС

1997

ББК 84. 4 Г
С 41

Peter Sichrovsky

**SCHULDIG GEBOREN
Kinder aus Nazifamilien**

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 96-03-16200)

Издательская группа “Комплекс-Прогресс” и Центр “Дискуссионное пространство” выражают благодарность за инициативу и поддержку в осуществлении проекта эксперту кандидату психологических наук С. Ениколопову и президенту Института прав человека В. Гефтеру.

Благодарим также Московское бюро Фонда Фридриха Науманна (Германия) за организационную и финансовую поддержку дискуссий, основой которых служила эта книга, и издания самой книги.

Перевод с немецкого – Р. Горелик

Редактор – Г. Кораблева

Дизайн обложки безвозмездно подготовлен Л. Расковской

Сихровски П.

С 41 Рожденные виновными: Исповеди детей нацистских преступников: Пер. с нем. – М.: Комплекс-Прогресс, 1997. – 106 с.

© Peter Sichrovsky, 1997

© Перевод на русский язык,
оформление, Комплекс-Прогресс, 1997

ББК 84.4 Г

ISBN 5-89342-007-1

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПОРЯДОЧНАЯ (<i>Анна, 39 лет</i>)	15
ГОРДАЯ (<i>Стефания, 19 лет</i>)	23
ВИНОВНЫЙ (<i>Рудольф, 36 лет</i>)	29
НЕВИНОВНЫЙ (<i>Иоганн, 38 лет</i>)	35
РАССТАВШИЕСЯ (<i>Райнер, 38 лет и Бригитта, 43 года</i>)	41
ПОЛНАЯ НАДЕЖД (<i>Сусанна, 42 года</i>)	49
БЕСПОМОЩНЫЙ (<i>Герхард, 41 год</i>)	57
СИСТЕМАТИЗАТОР (<i>Сибилла, 39 лет</i>)	61
ВЕРЯЩАЯ (<i>Моника, 40 лет</i>)	68
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР	73
ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЙ (<i>Эгон, 26 лет</i>)	80
ПРИМИРЯЮЩАЯ (<i>Ингеборг, 41 год</i>)	88
ЖЕРТВА (<i>Стефан, 29 лет</i>)	93
ПОСРЕДНИК (<i>Вернер, 40 лет</i>)	99

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Название книги, ее подзаголовок говорят сами за себя. Изданная в Германии в 1987 г., она переведена на несколько языков. Об авторе многое можно узнать из его предисловия к книге. Следует лишь добавить, что Петер Сихровски закончил университет в Вене, изучал химию, фармакологию и философию. После окончания университета в течение шести лет работал по специальности, затем стал профессиональным литератором. Первая его книга “Мы не знаем, что будет завтра, мы хорошо знаем, что было вчера” – сборник интервью с детьми немецких и австрийских евреев, родившимися уже после войны. Вторая, подготовленная к изданию книга П. Сихровски, предлагается Вашему вниманию.

Чем эта книга может быть интересна нашему читателю? Во-первых, тем, что в ней вновь ставится вечная проблема отцов и детей. Нам всем, не совершившим покаяния даже в той степени, как это произошло в Германии, неким предупреждением служит то, что следующие поколения в нашей стране “остались” с отцами. Биографически, во всяком случае. Социальной эта проблема не стала вообще. Представляется, что П. Сихровски и его партнеры по интервью помогут нашему читателю задуматься над подлинной виной и бедой своих родителей – функционеров и рядовых “винтиков” сталинской государственной системы – и почувствовать собственную ответственность за произошедшее. Кроме того, эта книга демонстрирует истинное значение индивидуального, личного выбора, многообразия человеческих реакций, того, что нам необходимо для понимания мира и своей роли в нем в качестве самостоятельных и ответственных граждан.

Надеемся также, что эта книга позволит глубже взглянуть на современную Германию. Следует признать, что несмотря на все пережитое ее народом, она не является полностью антифашистской или неонацистской страной. Более глубокий и сложный подход к пониманию сегодняшней Германии поможет нам естественно включиться в жизнь современной Европы.

Наконец, эта книга – значительный человеческий документ, как никогда необходимый нашему читателю с его нынешними проблемами, тревогами и заботами.

Р. Горелик

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моя предыдущая книга – о молодых евреях в Германии и Австрии. Писать ее мне было гораздо легче; важнейшим мотивом для ее создания была моя личная растерянность. На этот раз я в другой ситуации. Я пишу о “других”. Но они мне не чужды. С ними, детьми бывших нацистов, я вырос. Мы ходили в те же детские сады, возможно, сидели рядом в школе, вместе играли, с дочерьми бывших наци я ходил в дискотеки.

Я родился в 1947 году в Вене, мой отец – немецкий эмигрант. Родители окружавших меня ровесников несколькими годами ранее хотели гибели моей семьи. Если постараться постичь ситуацию математическим путем, то на основании того, что в Вене до и во время войны проживало незначительное число евреев и много нацистов, в детстве и юности я был окружен сверстниками, чьи родители были по своим взглядам нацистами.

Но когда я ныне обращаюсь к этой проблеме – не она была темой тогдашних разговоров. О прошлом родителей не говорили. Не сознательно, просто дети не хотели обсуждать то, что они сами не понимали. Эти “другие” не были чужими, но все же они были мне чужды. Когда я задумал написать книгу, основанную на интервью с детьми бывших нацистов, то вынужден был прийти к выводу, что жил скорее рядом, а не вместе с ними.

От родителей знакомых из еврейских семей я знал, где и как они пережили фашизм. Судьбы родителей “других” мне были совершенно неизвестны. Не могу припомнить ни одного разговора с одноклассником или товарищем студенческих лет, в котором бы речь шла о делах родителей во времена нацизма. Я же часто вел себя совершенно иначе. Рассказывал о судьбе моих родителей, о драме бабушек и дедушек, как будто бы всегда хотел как можно скорее поведать всем, что наше прошлое абсолютно не совпадает со случившимся в других семьях, живущих в Вене.

Единственным исключением была встреча с одной немецкой студенткой в Лондоне. Мы случайно оказались тогда в одном отеле и влюбились друг в друга. Однажды вечером мы пошли на танцы, и мне ничего лучшего не пришло в голову, как крикнуть ей на ухо – музыка была очень громкой – “мы весело танцуем там, где наши отцы могли стрелять друг в друга”. Поскольку она не поняла, что это значит, я добавил, что мой отец в 1938 году бежал из Вены в Лондон и затем воевал в британской армии.

Веселость и все, что владело мною в тот вечер, исчезли. Эдда, так звали мою приятельницу, вернулась к столу и рассказала, что ее отец служил в СС. Она много расспрашивала о судьбе моих родителей, но не могла сообщить мне какие-нибудь сведения о своем отце. Она знала только то, что он был в СС. Но ей не было известно, где, в каком звании он служил, что делал.

До этого я искал наследников тех, кто убивал при третьем рейхе, в знакомой мне среде, практически ничего не зная об этих мужчинах и женщинах. Я не представлял себе те волнения, желания и трудности, которые выпали на их долю, из-за истории их родителей.

Начиная работать над этой книгой, я ставил перед собой вопрос: как я должен находить детей нацистов? Было два пути. Первый – искать среди их родителей наиболее известные личности. И второй – просто опрашивать людей, не знают ли они кого-нибудь родом из нацистской семьи. Первый путь был более легким. Знакомись с одним, он называет несколько адресов других. Вскоре я беседовал или разговаривал по телефону с двадцатью пятью женщинами и мужчинами, отцы которых были в большей или меньшей степени символическими фигурами нацистского времени.

Многие из моих новых знакомых не хотели поддерживать разговор. Отчасти потому, что создали новую жизнь, оторванную от прошлого, или боялись необходимости критиковать своего отца, или просто хотели сохранить покой. Некоторые отказывались говорить со мной, как, например, дочь Геринга, интервью которой какому-то журналисту несколько месяцев спустя я прочитал в одном иллюстрированном журнале. Часть бесед я не включил в книгу. С самого начала я хотел, чтобы она состояла из разговоров с потомками видных личностей и так называемых попутчиков. Но рассказы детей известных нацистов могли придать книге оттенок мистификации, что было бы нежелательным. Третий рейх состоял не только из отдельных влиятельных лидеров. Напротив, в нем существовали сотни тысяч честных и порядочных чиновников, полицейских, офицеров, бургомистров, железнодорожных служащих, учителей и т. д., которые обеспечивали возможность функционирования диктатуры нацизма. Они интересовали меня. Их дети привлекали мое внимание: как они росли, что им известно, что пытались выяснить и как живут с тем, что узнали.

О менее известных мне нацистах я получил сведения от своих друзей и знакомых. Благодаря этому возникла группа партнеров для беседы, которые характеризовали своих родителей как нацистов. Исходным пунктом моих поисков были не только сами убийцы, но их дети. Решающим фактором являлись не дела родителей, а мнения их потомков: считают ли они отца или мать нацистами или нет. С родителями партнеров по интервью я не разговаривал. Важнейшим критерием было, как к ним относятся их дети.

В книге нет никакой иерархии прошлого положения родителей интервьюируемых. Судьба респондента интересна не только потому, что его отец ответственен за сотни тысяч убитых в противоположность “мелкому” бургомистру, который отправил в тюрьму нескольких социал-демократов.

От некоторых менее известных нацистов я узнал об их детях и познакомился с ними, допустив при этом несколько решающих ошибок. Часто я не получал согласия на разговор, потому что уже в постановке вопроса о готовности беседовать со мной звучало осуждение отца. Казавшихся мне безобидными вопросов – “Ваш отец ведь был известным офицером СС?” или “Вы ведь сын известного нациста?” – было достаточно, чтобы в интервью мне было отказано. Я вынужден был изменить формулировки и впредь говорил об отцах: “в нацистское время были активны” или “были политически ангажированы”. С некоторыми я заходил так далеко, что просил их поведать, в чем они упрекают отца.

Возникшая таким образом книга состоит из интервью с детьми известных и менее известных деятелей нацизма, с мужчинами и женщинами, которые либо ненавидят своих родителей, либо считают их героями или видят в своем отце человека, не отличающегося от других. Я не могу распределить опрошенных мною потомков нацистов по группам в соответствии с их отношением к родителям, идентифицировать эти группы – для этого есть профессионалы. Мой подход не репрезентативен. Это произвольная смесь, присущая сегодняшней Германии и Австрии. В сорока проведенных мною интервью я зафиксировал только возможные реакции на деяния родителей. Однако, несмотря на все различия между ними, существует и определенное сходство.

Для меня наиболее важным был, вероятно, тот факт, что послевоенное поколение не воспринимает своих родителей как нацистских героев. Великолепный молодой кумир в униформе СС, верящий в Гитлера и конечную победу, для них – только история. Они знают его по иллюстрациям и книгам. Рожденные незадолго до или вскоре после окончания войны, они помнят своих родителей несколько другими. Часто беглецами, попадавшим под бомбежки, без жилья и работы, разыскиваемыми союзнической полицией, арестованными и иногда осужденными. Дети помнят их жертвами войны. Проигранной войны.

Одна женщина описывала мне своего отца, бывшего офицера СС высокого ранга и ответственного функционера одного из концлагерей, как нервного, дрожащего человека, живущего в постоянном страхе, которому полиция угрожала арестом. “Мы жили вчетвером в одной комнате, отец не имел работы, только ночами выходил на улицу. Выглядят так жаждущие власти чудовища, у которых на совести миллионы других? Я не могу себе вообразить своего отца таким”. Дети нацистов не представляют своих родителей убийцами, во всяком случае в пределах своей собственной семьи. Родители сами ощущают себя жертвами и желают, чтобы дети, когда они были еще маленькими, воспринимали их таковыми.

Взрослея, дети нацистов приходят к пониманию подлинной роли своих родителей в войне и начинают воспринимать самих себя жертвами, жертвами своих родителей. Многие из моих интервьюируемых представ-

ляли себя в подобной роли. Жертвами идей, которые, даже когда война была проиграна, по меньшей мере в собственном доме были основой фашизоидного образа мышления. Изменились внешние условия, Германия и Австрия стали демократическими странами, но национал-социалистское сознание так глубоко укоренилось в головах убийц и их соучастников, что послевоенное поколение находилось в конфронтации, с одной стороны, с демократическим окружением, а с другой – с фашизоидными представлениями внутри семьи.

Ниже приводится написанное в 1960-е годы письмо отца одного молодого музыканта, отправленное после известия о том, что сын влюбился в еврейскую девушку.

Линц, вторник, 6 апреля 1965 г.

Дорогой Гервик!

Серьезная причина побудила меня написать тебе сегодня. В пятницу Иня возвращается во Франкфурт. Для тебя начнутся тогда нелегкие дни. Может быть, тебе будет приятно знать, что твои проблемы – это и мои проблемы и что я оцениваю твою ситуацию и сегодняшнюю, и ту, что может сложиться, не только сердцем, но и ясной головой. Настоятельно советую тебе вежливо распрощаться, не беря на себя никаких обязательств и пообещав, что затем объяснишься в письме. Все неопределенности, проблемы, договоренности и т. д. откладывая на потом. Пусть эти вопросы останутся открытыми. Такой совет даю тебе из тактических соображений. Теперь по существу самого дела: между нами не должно быть никакого недопонимания.

Большая часть из произошедшего связана с твоими взаимоотношениями с Иней, а также с тем, что имеет отношение к нам. При этом многие вопросы можно было бы выяснить, что-то покритиковать, посоветовать, обсудить, сравнить и т. д. Мама и я согласны с тем, что кое-какие недостатки Ини со временем можно было бы преодолеть, исправить. Мы отдаем себе отчет, что ты также совершил некоторые ошибки. Все это дает повод для обсуждения и обдумывания. Но спустя короткое время происхождение Ини станет катастрофическим бременем. Сегодня я вижу многое другими глазами. Эту проблему можно понять, исходя из двух различных точек зрения. Первая – личная: очень прискорбная; Иня в том совсем не виновата. Эту проблему, связанную с ней, нужно как можно дольше не замечать, а со временем основательно пересмотреть, пока она сама не будет вынуждена принять другую точку зрения и по-другому вести себя. Исходя из сочувственного понимания, я тотчас же согласился бы встретиться Иню и принять ее. Я хочу в пятницу проводить ее к поезду. Когда меня отпустят по службе, встречу вас и сам отвезу на вокзал. Из этого, как ты понимаешь, следует моя позиция относительно того, каков разумный выход из положения. Формулирую ее ясно и недвусмысленно: ты, как и

прежде, абсолютно свободен в принятии решения. Я также. И оно таково: с момента отъезда двери моего дома закрываются для Ини навсегда. Мое решение кажется суровым. Но есть две причины. Первая основана на том, факте, что я ни при каких условиях не изменю свою основную жизненную установку. Вторая касается тебя самого. Знаю, что за долгое время ты из-за неизбежной психологически изнуряющей нагрузки не поднялся до уровня этих проблем – даже при самых благих намерениях. Все твоё окружение встретило бы такое решение с предубеждением и сдержанно. Возможно, ты почувствуешь эту сдержанность также и там, где ее скорее всего не будет. Мой отцовский долг обратить твоё внимание на последствия и сказать тебе коротко и ясно, что ты от меня мог бы и чего не можешь ожидать в случае, если приведешь в наше семейство девушку еврейского происхождения. Я должен тебе это сказать, как бы жестко это не звучало.

Я не тороплю тебя и очень советую тебе не спешить с принятием решения. Но когда ты считаешь, что этот период твоей жизни завершен и окончательно улажен, скажи мне об этом. Имея все основания сделать акцент на том, что это не обязательно должно произойти, я все же надеюсь, что остается возможность решить вопрос юридически. Прошу тебя поэтому не привлекать к себе внимания. Прежде чем что-нибудь напишешь, дай мне об этом знать: необдуманность или неосведомленность в существе дела могут принести тебе вред. К концу недели ты будешь у нас, и мы сможем все обсудить. Будь только приветлив с Иней, не держись букой: ее ситуация тоже не из радостных. Но будь предусмотрителен. Ты не должен произносить слово “женитьба”. Если дело примет серьезный оборот, в действие придет такая сила, с которой ты один с твоими взглядами и мнениями совершенно не справишься.

Поэтому пойми мое беспокойство: это забота отца о своем сыне.

С приветом, целую тебя. Твой папа.

Поведение в отношении твоего окружения: твоё отсутствие затянется, так как ты будешь продолжать учебу. И больше никому ни одного слова!

Сын последовал совету отца. Когда несколько лет спустя молодой музыкант встретил на концерте бывшую приятельницу и рассказал ей о конфликте с родителями, девушка сообщила ему, что она не еврейка и что он ее тогда неправильно понял. Это “непонимание” стало причиной разрыва его с родителями. Теперь молодой человек работает преимущественно в группах, исполняющих традиционную еврейскую музыку.

Как видно из этой ситуации, жертвы собственных родителей переживают различные судьбы. Некоторые представляют себя самих страдальцами. Так, двадцатидевятилетний студент, сын служащего одной из охранных команд концлагеря, сказал мне, что в своей собственной семье он – еврей. Очень часто наблюдается и такая реакция на прошлое своих родителей:

примкнуть к жертвам национал-социализма, открыть для себя причины преследования, что помогло бы оказаться в положении преследуемых.

Это чувство усиливается, если потомки нацистов обсуждают друг с другом свои судьбы. На мой вопрос, есть ли различие между беседой со мной и беседой с кем-нибудь из сходной семьи, сорокалетняя женщина-психолог ответила, что я отказываю ей в роли жертвы. Когда же она говорит на эту тему с приятельницей, обе они – пострадавшие. Во время разговора со мной она думает о возможности своего соучастия в преступлениях.

Другая очень типичная реакция – защита отца. Даже когда доказательства бесспорны, одни партнеры по интервью реагируют решительным заявлением, что они не готовы судить собственного отца. Другие пытаются сузить рамки ответственности своих родителей: отец, мол, был мелкой рыбешкой или служил во фронтовом подразделении, не имевшем отношения к концлагерям. Иные описывают своих родителей, как вполне нормальных отца и мать, поступающих, как все приличные люди: они не били детей, поэтому нет никаких оснований рвать с ними и осуждать их. Главное для них – какими они знают родителей теперь, а не то, чем они занимались раньше.

Во всех этих разговорах для интервьюируемых не было секретом, что я – еврей. Я сообщал об этом с самого начала, и не было ни одной ситуации, когда бы у меня возникало чувство, что собеседник отказывается беседовать со мной по данной причине. Во время интервью я несколько раз заговаривал на эту тему. Некоторые пытались объяснить мне, что из-за отношения к своим родителям я должен быть другим, поэтому не могу понять, что значит расти с родителями-нацистами. Иногда доходило до почти агрессивных нападок и оскорблений. Мол, мне в моей ситуации, несмотря на тяжелую судьбу семьи, было легче, чем сыну или дочери убийцы. С этим я вынужден был согласиться. Решающее различие между детьми жертв и детьми убийц в том, что у первых нет страха и неизвестности, которые есть у вторых в связи с тем, что делали их родители во время войны.

В моих исследованиях меня также интересовало научное объяснение данного феномена. Молодая врач из Мюнхена Аннета Хан занялась систематизацией психологической и психиатрической литературы в германских институтах и библиотеках. Однако ее поиски через несколько дней закончились. О психических расстройствах у детей нацистов в ФРГ написано всего десять–двадцать работ. Бум психологизирования, пришедший в 1960-е и 1970-е годы и охвативший почти все области жизни, привел к появлению десятков тысяч “специалистов”, которые пытались “помочь” западным немцам обрести счастье и радость, стремясь любыми способами изгнать из памяти собственное прошлое. От коллективного варварства к коллективному забвению... Один университетский профессор следующим образом ответил на вопрос о том, почему в Гер-

манни так мало занимаются влиянием деятельности преступников на психику их детей: “Это нелюбимая тема у тысяч пациентов, которые ищут психологов или психиатров”. Часто причиной психических расстройств является такой феномен, как воспитание ребенка в семье убежденных нацистов. Как подходят эти “помощники” к такой теме? Как они работают с пациентами? Как могут они им помочь, если исключают эту проблему из своего образования и научной деятельности?

К сожалению, время уже ушло. Сегодня внуки преступников проходят курс наук в университетах, а их родители упустили шанс извлечь уроки из истории преступного прошлого. Замалчивание преступлений может стать своего рода бомбой замедленного действия. Отказ от осмысления прошлого не ведет поколение, живущее в постоянной смене реальности между новой демократией “извне” и внутренним старым фашистским идеалом, бытующим в семье, к новой идентичности, когда даже мысль о возможном повторении прошлого недопустима. Почти все интервьюируемые независимо от того, как они реагируют на преступления родителей, убеждены в том, что события фашистского времени могут повториться. Недоверие, узнавание в людях сегодняшнего времени печати прошлого, страх перед его повторением делают детей преступников не слишком оптимистичными гражданами.

Что упустили родители, не могут наверстать дети. Необходимая позитивная идентификация значительно разрушена, из-за холодности и молчания поколения преступников страдают их дети, и обеспечение уверенности часто возможно только с помощью больших усилий. Многократно обсуждаемая “неспособность к печали” (хотя сами нередко печалились о любимом фюрере) была выражением настроения, господствовавшего после войны в семьях. Когда дети преступников говорят о своих родителях как о “жертвах” войны, это соответствует их реальным переживаниям. За великими героями, хозяевами положения и “сверхлюдьми” нередко видны маленькие фигуры, чувствующие себя преследуемыми несчастьем и не считающие себя источником бед.

Личная вина, озабоченность или стыд за родителей проявлялись во всех разговорах очень четко. В отличие от своих собственных детей поколение преступников было бесчестным, молчаливым и лживым. Одна женщина поведала мне в интервью: “Если бы моя мать только один единственный раз сказала мне, что была при всем этом и это – ужасная ошибка, и она надеется, что ее дочь извлечет из этого уроки, я могла бы с ней примириться, даже если она была охранником в концлагере”.

Но дело не только в молчании родителей по поводу собственной истории. Во многих случаях дети противостоят упорному культивированию в семье фашистского типа сознания. Ощущение себя жертвами собственных родителей-нацистов очень часто присутствует в их переживаниях.

Нередко дети преступников перенимают роли страдальцев-родителей. При общественно-политических противоречиях конфликты с государственными авторитетами или политическими противниками нередко достаточно быстро символически перемещаются в нацистское время. Некоторые сравнивают “зеленых” с нацистами, другие – полицию с гестапо; пытаются таким образом драматизировать ситуацию, соотнося противников с национал-социалистами, а самих себя – с жертвами.

Палачи отказываются быть приметами своего времени. Однако совершившие преступление в прошлом не могут быть современниками настоящего. Самые униженные становились большей частью теми жалкими немцами, которые не могли понять, почему спустя так много лет они все еще рассматриваются ответственными за ужасы нацистского периода. При наличии в мире такой концентрации зла (для одних – русские, для других – американцы) пора уже оставить в покое прошлое.

Теперь в ФРГ чаще дискутируют по поводу того, есть ли еще в мире исторические трагедии, подобные Освенциму, чем о том, *как* в такой христианско-демократической стране, как Германия, могли к этому прийти. Политики открыто говорят, что они, молодые офицеры 1945 года, чувствовали себя тогда не освобожденными, а потерпевшими поражение; дискутируют и относительно памятника всем погибшим во времена третьего рейха как жертвам войны, вне зависимости от того, были они убийцами или убитыми.

Эта идентичность безвинно побежденных должна быть предпосылкой для нового демократического сознания. “Старые” немцы не облегчили процесс формирования обновленного сознания “новым” немцам, которые не питают напрасных иллюзий по поводу того, до каких пор они должны наткаться на кучи дерьма. В предлагаемой вниманию читателя книге слово предоставлено поколению, которое постоянно натывается на эти кучи. О прошлом своих родителей, об их малодушии вести разговор на эту тему, о неспособности признать свою вину. Остается ждать, удастся ли через эти трудности выйти на верную дорогу.

Правда придает человеку мужества.

Ингеборг Бахман

ПОРЯДОЧНАЯ

Анна (39 лет)

Свою жизнь я могла бы описать несколькими фразами. Родилась в 1947 году в Мюнхене. Выросла в Мюнхене. В школу ходила в Мюнхене. Образование – медицинская сестра. В двадцать восемь лет вышла замуж. Теперь – домашняя хозяйка. Мать двоих детей. Муж работает в банке. Он заботится о нас, я – о доме. Живем мы хорошо.

Все остальное рассказывать не так легко. В целом это выглядело примерно так. В тринадцать лет я узнала, что мой отец, в отличие от того, что рассказывала мне мать, во время войны был не на фронте, а работал в концентрационном лагере. Мать всегда говорила, что она постоянно ждала вестей от мужа с фронта. Отец же каждый вечер приходил домой. Как будто бы со службы. Садился за стол и ел суп, приготовленный матерью для тяжело работающего мужа. Он делал свою работу, она – свою.

Когда мне было двенадцать лет, я знаю это точно, – был 1959 год – нам пришло письмо, которое изменило все, действительно все. Однако при этом все осталось по-старому. Понимаю, звучит противоречиво, но так было. Как ни тяжелы дальнейшие переживания, по сути мало что изменилось. Тогда на отца пришло заявление. От бывших заключенных. Вы не можете себе представить, что это значило для нашей семьи. Вы с Вашим прошлым никогда не сможете себе этого вообразить. Отец служил тогда в полиции. Место там он получил вскоре после войны. Он имел работу, все у нас было в порядке, мы были обыкновенной семьей. Возможно, были даже счастливы, я этого не знаю. По меньшей мере не могу вспомнить, чтобы я была особенно несчастным ребенком. Но фашизм? Время нацизма? Преследования евреев? Об этом в нашем доме никогда не говорили.

“Отец был на фронте, как и все другие мужчины”, – так всегда говорила мать. И я не должна его об этом спрашивать, чтобы не волновать. Я никогда и не спрашивала. Зачем мне спрашивать? Война? Это было задолго до меня. Хотя в городе повсюду были еще разрушенные дома, но все остальное – это рассказы, переживания других, не мои...

Потом пришло письмо. Я не могу вспомнить, было оно из какого-нибудь учреждения или от адвоката – не имею никакого представления. Я его и не читала. Однажды вечером, через некоторое время после получения этого письма, отца не было дома. Мы с матерью ужинали на кухне. Я чувствовала: что-то случилось. Несколько дней со мной едва разговаривали. Родители делали серьезные лица, у матери часто на глазах появлялись слезы. Даже сегодня мне удивительно, как это я не задала ни одного вопроса. Все видела, все слышала, но ни одна мысль не приходила мне в голову; жила жизнью маленькой школьницы и думала, что мать мне все

расскажет, если это будет меня касаться. Конечно, я понимала, что что-то произошло. Отец постоянно звонил по телефону, не ходил больше на работу. Каждый вечер приходили мужчины с большими портфелями в руках. Единственное, что меня тогда волновало, – эти люди всегда обсуждали свои дела в комнате, и я не могла смотреть телевизор.

Сию я с матерью на кухне и неохотно ем суп. Наконец она подняла голову, посмотрела на меня и сказала: “Анна, ты теперь достаточно взрослая, я должна с тобой поговорить”. Я отложила ложку, посмотрела на нее, выслушала и не поняла ни одного слова. Почти смешной казалась она мне тогда, и еще сегодня в воспоминаниях эта ситуация представляется мне курьезной. Впервые моя мать проявила по отношению ко мне неуверенность. Это было взволнованное, истерическое бормотание. Сбивчивая речь, прерываемая всхлипываниями, постоянно заканчивалась словами: “Если кто-нибудь будет спрашивать тебя об отце – ты ничего не знаешь. И если они все же будут спрашивать об отце, ты ничего не должна говорить. Ты поняла меня? Все равно, кто тебя спрашивает, – ты ничего не знаешь”. Потом она пыталась кое-что объяснить, говорила об ошибках, о клевете, о злых людях, которые хотят отнять у нас нашего отца. Я вообще ничего не понимала. И поскольку не привыкла задавать вопросы и уж совсем не умела ставить что-нибудь под сомнение, меня устраивало требование ничего не говорить. Да и что могла бы я сказать?

Мать была тогда жутко испугана. Так, по меньшей мере, кажется мне сегодня. Страх передо мной, перед полицией, перед расследованием, перед соседями и, наконец, перед теми, кто там уцелел.

Наша жизнь становилась все более тревожной. Каждый вечер приходили какие-то мужчины. Они сидели вместе с отцом, мать чаще всего плакала на кухне, приносила и относила пиво или кофе. С отцом я не могла больше разговаривать. Он не ходил на работу, целый день был дома, почти не говорил. Я его избегала, уклонялась от контактов с ним и – как ни странно это звучит – мало-помалу отдалялась от родителей.

Так продолжалось целый год. Затем произошло следующее драматическое событие. Мне минуло тринадцать лет, я немного подросла. Часто по пустякам, которые мне тогда казались очень важными, я начала оказывать сопротивление – отказывалась одеть то, что требовала мать, или иногда после обеда шла гулять со своей подружкой (для моих детей все это теперь само собой разумеющееся). Однажды, это было перед летними каникулами, мои родители находились в более нервном состоянии, чем обычно, после обеда зазвонил телефон. Мать сидела поблизости и, видимо, ждала звонка. Она сняла трубку и кроме “да, да”, становившегося все громче, ничего не говорила. Положив трубку, она подошла ко мне, в ее глазах стояли слезы, обняла и сказала: “Теперь все снова хорошо. Они ничего не могут сделать твоему отцу. Все снова в порядке”.

Только теперь я задала вопрос. Первый в моей жизни настоящий вопрос матери. Смейтесь надо мною, удивляйтесь, считайте меня ограниченной, недоразвитой, поздно развившимся ребенком, но я тогда спросила в первый раз: “Мама, что в порядке?”. И мать ответила: “Твой отец оправдан, он не виноват. Он всегда был невиновен”.

Этот звонок и реакция матери как бы перевели меня в другой возраст. Я спрашивала нервно и раздраженно, как он мог быть оправдан, что он сделал, кто и почему обвинял его. Моим вопросам не было конца.

Не могу сказать, что я ничего не узнала от матери. Она говорила вокруг да около, произнося слова, которые я знала: бесстыдство, клевета, террор властей и – не пугайтесь – евреи. Однако это слово прозвучало в первый раз. Никогда до сих пор мои родители не говорили о евреях, такого слова, казалось, не существует.

С этого момента с моей наивностью и детской глупостью было покончено. Во мне росло недоверие. Впервые у меня появилось подозрение, что от меня что-то скрывают. Отец пришел домой через час и был слегка пьян. С ним пришли несколько мужчин и женщина, все с красными лицами, они громко смеялись, каждый обнимал и целовал меня. Мне они были противны. Пиво приносили целыми бочками. Они праздновали оправдание отца. Когда я сегодня думаю об этом, мне страшно. Чувствую, что я не в состоянии его судить или даже осуждать. Я не хочу говорить о том, что он делал во время войны; вероятно, ему угрожали, вероятно, оказывали давление. Кто знает, как бы я в таком случае поступила. Но почему праздновать? Почему вести себя так, как будто выиграла местная футбольная команда? Без преувеличения, это был худший вечер в моей жизни. И еще тяжелее мои нынешние воспоминания, после того как я узнала, в чем моему отцу было предъявлено обвинение.

Через несколько дней снова началась обычная жизнь. Отец опять ходил на службу. Мать убирала квартиру, готовила, ходила за покупками. Я продолжала учиться в школе. Но во мне возникло беспредельное стремление раскрыть эту тайну. Из моих родителей ничего нельзя было вытянуть. А циничные, короткие замечания и намеки соседей, соучеников и учителей я просто не понимала. То, что мой отец был во время войны обычным солдатом, как и все другие, было само собой разумеющимся и неоспоримым.

Спустя две недели у меня открылись глаза. Сегодня это легко сказать. И звучит даже патетически. Часто я говорила об этом с моим мужем. Но какое событие является самым важным в жизни человека? Для меня это было наверняка не открытие того факта, что мой отец служил начальником охраны в одном концентрационном лагере и был обвинен в убийстве. Узнала об этом – ну и что? Вы думаете, что-то изменилось? Я должна была уйти из дому? Или составить частный обвинительный акт против матери и отца, годами обманывающих свою дочь? Они меня кормили,

зимой тепло одевали, в Рождество устраивали елку и делали подарки. Больше ли я делаю для своих детей? Отец – убийца, как это звучит? Моя жизнь протекает не так волнующе, как в романах Достоевского. К тому же я жила вместе с лежегероями.

У нас в школе был один учитель, не молодой, но всегда приветливый и доброжелательный. Что бы мы ни делали на уроках, он всегда оставался спокоен. Мы относились к нему не очень серьезно. Но однажды после уроков, когда почти все дети покинули класс, он взял меня за руку и тихо сказал: “Анна, если ты ничего не знаешь о деле своего отца, приходи ко мне. Я попытаюсь тебе помочь”. Никто еще со мною так не разговаривал. Через несколько дней я пришла к нему. Он пригласил меня к себе домой. Это было необычно. Почему он это сделал? Я этого не знаю. Никогда его об этом не спрашивала. Я пошла к нему на следующий день и на другой.

Знакомство с ним поддерживаю и теперь. Он мне как дедушка, эрзац дедушки и, пожалуй, эрзац отца. Мы никогда не говорим с ним о моем отце. Учитель – простой, ясный человек. Каждая его фраза справедлива, я верю любому его слову, а советы принимаю, как советы врача. Что он мне тогда рассказал? Что он мог рассказать? Что может себе представить тринадцатилетняя девочка, достаточно глуповатая и наивная, ничего не слышавшая об ужасах концентрационных лагерей, всегда верившая своим родителям? Сначала, когда я поняла, что произошло, то испытала первый шок. Когда же осознала, что мой отец участвовал в этом, – второй. Конечно, мне было известно, что существовали концентрационные лагеря и что шесть миллионов евреев были убиты. Это нам рассказывали на уроках. Но ведь в школе же я узнала и то, что Красную шапочку съел волк и что дурень умер с голоду, потому что не ел свой суп. Позже – о крестовых походах, а когда стала старше – о Французской революции. Став еще старше – о второй мировой войне и газовых камерах. Но кто, ради Бога, когда-нибудь рассказал нам, что в этом принимали участие наши собственные родители? Во время Французской революции были казнены тысячи людей. Я вспоминаю, как впечатляюще наш учитель истории повествовал нам о злодеяниях Робеспьера. Но то, что живущий рядом пекарь, учитель английского языка или симпатичный полицейский, который всегда останавливает машины, когда я иду в школу, и человек из паспортного бюро принимали участие в убийствах во время войны, об этом нам не рассказывал никто. К тому же речь шла о собственном отце!

Уроки истории и другие описания также были сказками из прошлых времен. Мы – еще симпатичные, веселые дети. Всегда чистые платья и банты в волосах. Мой отец носил меня по воскресеньям на плечах по лесу. Мы втроем играли в мяч. Один из нас всегда стоял в середине. Эта игра называлась “Поймай мяч”. Если стоящий в центре ронял мяч, вмес-

то него вставал другой. Смешная, безобидная жизнь. Простодушная и порядочная, дальше ехать некуда.

Не было никаких убитых, никакой войны, никаких угроз. Не было траура. В моей семье не было траура. Никто не погиб на войне. Братья моего отца пережили войну, дедушки были слишком старыми для того, чтобы быть призванными на военную службу. Никто не погиб от бомбардировок. Но, пожалуй, не это было главным. А потом эти послевоенные часы с Хорстом. Так я теперь называю моего бывшего учителя. Он сам был в лагере как коммунист. Поскольку он не являлся важной персоной, долгое время его не трогали. Но за несколько месяцев до конца войны они не могли его не забрать. Призыв в армию перед концом войны сопровождался последними арестами для обеспечения окончательной победы. Хорст мало говорил о своих собственных переживаниях. Я думаю, его больше интересовали дела других, таких, например, как мой отец. Не хочу перечислять детали, о которых он мне тогда рассказывал. Главное, что я от него узнала, – это то, что в Германии жестокости происходили не когда-то в глубокой древности, а незадолго до того, как я родилась. Во-вторых, поколение, явившееся тому причиной, содействовало всему, что произошло, и тем самым совершило преступление. Это поколение не только еще живет, но и здравствует в моем окружении. И, в-третьих, одним из активных участников преступлений был мой отец.

Хорст всегда говорил о своем долге рассказать мне правду относительно прошлого. В этом отношении он даже походил на моего отца, любимым словом которого было слово “долг”.

Но если вы теперь предполагаете, что в нашей семье дело дошло до большого скандала, то я должна вас разочаровать. Когда я сегодня возвращаюсь к тому времени, то понимаю, что не так уж много, собственно говоря, произошло. Просто не было ничего, что могло бы быть разрушено.

Естественно, состоялось решительное объяснение. Я задала своему отцу вопрос, который все дети должны задавать отцам: “Что ты делал во время войны?”. Но раньше, чем отец смог ответить, мать гневно, почти крича, заявила, что я должна оставить его в покое, что он во время войны достаточно перенес и что я никогда не должна об этом говорить. После того как я ответила, что нам в школе рассказывали о лагерях, об уничтожении евреев в газовых камерах, о расстрелах женщин и детей, и я знаю, что отец имел к этому отношение, что он был с ними до конца, участвовал в их безумных делах, после этого оба – отец и мать – стали кричать на меня. Стояли передо мною, смотрели большими красными глазами, один громче другого говорили о собственной дочери, которая клеветает на родителей, о школах, натравливающих детей на отцов и матерей, и все это – благодарность за жертвы и страдания в те ужасные времена, которые они пережили, за их заботу обо мне. Так продолжалось долго. Что я могла еще сказать? Однако я не сдавалась. Я задала последний вопрос:

действительно ли он работал охранником в лагере смерти? Тогда они оба начали плакать и причитать, и снова и снова одни и те же слова: “собственная дочь”, “после того, что они перенесли”... и т. д. и т. п. Ничего вроде “я попытаюсь тебе это объяснить”. Никакого чувства вины, никакой печали. Никакого смущения. Так сидели они оба, будто бы я их обвиняла в том, что они сделали нечто противоречащее реальности, на что можно реагировать только отчаянием и слезами.

Несмотря на этот разговор – звучит, вероятно, ужасно, – ничего опять не произошло. Я продолжала ходить в школу, ездить вместе с родителями по воскресеньям гулять, праздновать Рождество. Как будто бы близость к родителям на самом деле всегда была большим отчуждением. Сегодня я вижу все это, как в тумане. Узнаваемы только очертания, передвигаешься ощупью сквозь пространство, едва распознаешь другого, имеешь о нем очень смутное понятие, видишь всегда только нечеткие контуры. А когда подходишь близко, все легко исчезает и совсем тебе неизвестно.

Иногда я пытаюсь перенести все в сегодняшний день. Предположим, что моего мужа завтра арестуют, и выяснится, что несколько лет назад он кого-то убил. Хотя его и не осудили, я-то знаю, что он совершил. Что бы тогда изменилось? Оставила бы я его, развелась? Стал бы он внезапно для меня чужим человеком? Вероятно, я не так уж сильно отличаюсь от моих отца или матери. Чего же хочу в таком случае от моего мужа? Чтобы он зарабатывал достаточно денег, чтобы дети и я прилично жили, чтобы он вечера и конец недели проводил с нами, никого не бил и не был постоянно пьян. Я хочу ведь не так уж много. Вероятно, моя мать тоже не хотела большего. Вероятно, она готовила отцу каждое утро хлеб на работу, самым важным считала то, что он внимательный муж, заботящийся о семье, много работающий, уважаемый человек. Однако я не могу поверить, будто она не знала, что он называет своей работой. Как-то вечером – моих родителей не было дома – я начала рыться в документах отца. Его письменный стол – это нечто святое. Я обнаружила там все. Удостоверение личности, документы, показания, судебные материалы, протоколы свидетелей – все аккуратно сложено в одной папке. Я рассматривала фотографии на паспорте, на различных удостоверениях: молодое узкое лицо, строгие глаза, плотно сжатые губы. Мой отец. Он не очень изменился за эти годы. Чужая мне личность, цель которой меня обеспечить, пристроить. Я нашла также свадебную фотографию. Мать рядом с ним, оба улыбаются. Так они всегда улыбались мне. Но как они оба мне чужды, как далеки!

До окончания средней школы я жила в их доме. После этого сразу же покинула его. Я поступила в школу медицинских сестер только потому, что после ее окончания могу получить комнату при больнице. Своих родителей посещала регулярно – каждое воскресенье после обеда. Из года в

год – в воскресенье в одно и то же время. Мать пекла пирог, подавала кофе и взбитые сливки. Разговаривали о моей работе и болезнях стариков. Одно время я всячески старалась перевести разговор на войну и деятельность отца. Но это было бессмысленно. Я могла бы с тем же результатом говорить в пустоту. Каждое мое слово оставалось пустым звуком. Чем старше они становились, тем равнодушнее и холоднее были.

Затем в течение двух лет умерли мои дедушка и бабушка. Отец моего отца был чиновником во Франкфурте. Хороший, порядочный человек, каких мы всегда ценим. Он был мне настоящим дедушкой. Мы виделись каждые два месяца и в течение долгих лет он задавал мне один и тот же вопрос: “Ну, Анна, ты тоже доставляешь радость своим родителям?”.

Отец моей матери работал на железной дороге. О нем я также знаю немного. Обе бабушки были гораздо приветливее. Однако во время редких посещений кроме дружественных фраз никаких контактов между нами не было. В течение двух лет неожиданно четырежды состоялись похороны. Раньше я не сталкивалась со смертью родственников, и похороны представлялись мне всегда чем-то ужасным. Теперь я для себя самой открыла, сколь безразлично для меня было то, что происходило. Печали не было, несмотря на черные платья, слезы матери. Тогда я в первый раз подумала, что вообще не в состоянии печалиться. Будет ли мне всегда безразлична смерть другого человека, даже родственника? Если бы моих родителей задавила машина, ничего бы не произошло. Просто мне не следует больше приходить к ним по воскресеньям на пирог и кофе.

Однако поймите меня правильно. В этом случае господствующее чувство – не презрение, не возмущение. Равнодушие. Семья умирала долго. Первыми бабушки и дедушки, которые, безусловно, все знали и ничего мне не рассказывали. Через два года умер мой отец. Он долго болел, целый год лежал в больнице. Последние месяцы как раз в той, где я работала. Я его видела почти ежедневно. До последней минуты он был замкнут, и ни единого нового слова не вылетело из его уст. Он повторял одни и те же фразы, когда я пыталась узнать что-нибудь новое о нем. Какое-то время я думала, что было бы проще, если бы при этом не присутствовала мать. Но это оказалось безнадежно. Он стал несколько мягче, часто говорил о том, как бессмысленна война, что она его лишила юности и что теперь, когда войны нет, мне гораздо лучше. Он не был фанатичным нацистом, но понял, что появился шанс больше заработать, остальное являлось обязанностью. Иногда в бреду он говорил о своих коллегах, товарищах, как он их называл, которые вели себя, как свиньи. Но каждый мой вопрос о том, как, где и что делали, был бессмысленным. Только уклончивые ответы.

Моя мать и я были с ним, когда он умер. Впервые при этом мне пришлось на ум слово “окошел”. Да, он окошел. Я привыкла к смерти больных. Каждый день видела одну или две смерти. Некоторые нацисты околева-

ли, умирали жалкими, такими, как и жили. Так умер и мой отец. Мать сидела рядом с ним и плакала. Я не пыталась ее утешить, меня не печалила смерть отца.

В то время я жила уже вместе со своим нынешним мужем. Он изучал экономические науки. Его отец – директор банка. Родители мужа не очень отличаются от моих, только их речь более красива. Но Пауль, мой муж, сразу после окончания средней школы ушел из дому. Во время войны отец мужа был судьей. Кто знает, какими делами он занимался! В двадцать восемь лет мы поженились и уехали. На свадьбу не пригласили ни его, ни моих родителей. Это было худшее, что мы могли им причинить. Моя мать дни напролет плакала, а отец мужа угрожал лишить его наследства. Но мы не желали им владеть. Нам хотелось начать жить заново. И не иметь никаких свидетелей прошлого.

Тем не менее, мы посещали родителей моего мужа, как и мою мать. По очереди: раз в месяц его родителей, следующий месяц – мою мать. Между собой у них нет никаких контактов, хотя они очень подошли бы друг другу.

Однако чем старше я становлюсь, тем чаще думаю, что мы – мой муж и я – в действительности отличаемся от них. Часто приходят мысли, как могли бы мы тогда поступить. Скажем так: мой муж приходит сегодня домой и говорит, что у него есть возможность удвоить свой заработок, что в течение нескольких лет он, возможно, станет большим начальником, но для этого нужно какое-то время поработать в управлении лагеря заключенных. Люди там все равно – дрянь, он должен будет заниматься осмысленной деятельностью. Возникли бы у меня сомнения? Или я бы сказала, что он должен делать то, что считает правильным? Стала бы я спрашивать, чем он там в действительности занят, или делала бы вид, что меня это не касается? Подобные мысли не оставляют меня в покое. Могут ли люди одного поколения превратиться из волков в овец? Это ведь те же семьи, те же родители, бабушки и дедушки, учителя, священники.

Теперь я живу только для своей семьи. Я люблю двух своих дочерей: одной сейчас восемь лет, другой – десять. Это первые люди, которых я люблю по-настоящему.

ГОРДАЯ

Стефания (19 лет)

Мой родитель набожен, как монах. Всегда только добро, всегда только любовь. Но любовь сверх меры, ты понимаешь? Когда я в первый раз не вернулась ночевать, он рыдал и молился. Любовь во имя другого означает для него лизать задницы. Всегда с опущенной головой, глаза смотрят на башмаки собеседника. Что за отец у меня! Иногда он так сладок, как сирота. Я никогда не слышала, чтобы он кричал. Он или спокоен, или хнычет, или молится. Никогда не бывает грубым или в гневе. Но его визг может тебя погубить.

А мать? Она не очень отличается от отца. Они оба состоят в секте Свидетелей Иеговы. Ждут Освободителя. Тогда останутся только они и их друзья. Остальные погибнут.

День у нас всегда проходит так: встаем – молимся – причитаем – молимся – плачем – молимся – ложимся спать. Вдохновляюще, не правда ли? Ты знаешь, почему это все? Отец моего отца был казнен сразу же после войны. Иногда мать говорит, что во мне сидит такой же черт, как в дедушке. И меня ждет Божье наказание, как и его. Хорошенькие перспективы, да? Но меня они не обманут. О дедушке дома вообще нельзя говорить. Он появляется только в молитвах. Бог должен взять его душу, и родители в своей жизни все будут делать не так, лучше. Спросите только, что? Они губят себя, да и меня тоже, только потому, что старик был когда-то крупной персоной у нацистов. Я знаю его по фотографиям. Он выглядит, как безумный. Черная униформа, сапоги – похотливый тип. Этот пробор, эти жесткие глаза – все, наверное, дрожали перед ним. Совсем не такой, как мой отец, – этот сам дрожит перед всеми.

Можно говорить о нацистах что угодно, но выглядели они красиво. По крайней мере мужчины. Женщин в их блузах, с их прическами ты можешь забыть. В школе мы смотрим фильмы с маршами, парадами. Как все рычали от восторга. Покажи мне сегодня что-нибудь подобное – не найдешь. Да, я знаю, это было плохое время. Война, нечего есть, бомбы, евреи. У нас есть один учитель истории: длинные волосы, борода, норвежский пуловер. Что только он нам не говорил! Часами он евреях, коммунистах, цыганах, русских – все жертвы и только жертвы. Этот учитель изъяснялся всегда так, как будто бы его и теперь преследуют. Как будто бы нацисты и сегодня за ним гонятся. Но кем он был? Не евреем, не цыганом, не русским. Вероятнее всего, коммунистом. Я не верю этим рассказам. Кто знает, так ли было все плохо.

Однажды один парень из нашего класса спросил учителя, где же он сам был тогда? Почему так много кричали тогда “ура” и “хайль”? Почему все были так воодушевлены? Должно же было быть тогда что-нибудь

другое". Любимый учитель тупо посмотрел и обзвал того ученика неонаци. заявив, будто бы тот совершенно не думает о жертвах и т. д. Но мы – остальные ученики – снова вернулись к этому разговору. Однажды один из нас сказал, что мы хотим знать, что же тогда происходило в действительности. Правильно ли то, что предателями и подлецами всегда были только мы, немцы. Весь класс кричал. Один говорил, что все это безумие, о чем он нам здесь рассказывал. Мы же все видели в фильмах, которые он нам показывал. Смеющиеся дети, блестящие глаза женщин, сотни тысяч людей на улицах – и все ликовали. Откуда пришло это воодушевление? "Вы лжете нам, господин учитель", – сказала я ему в лицо. Он вначале дико смотрел с глупым видом, но потом – что началось! Это было безумие, что тогда делалось. Наконец-то мы оставили в покое этого кривляку, всегда все понимающего, все умеющего объяснить. Куда девались его психологически выверенные речи? Он мог бы понять мою агрессивность и даже согласиться с нею, такой "мелочью". Но он пошел в наступление и бушевал. От меня, де, он ничего другого не ожидал, коль мой дедушка был преступником, нет, военным преступником, сказал он. Я же знаю точно, что если преступник, то должен быть и уничтожен как преступник... Я ничего не ответила. Но за мною сидела моя подружка Гудрун. Она неожиданно закричала, что учитель может быть доволен тем, что моего дедушки нет в живых, а то ... – на этом она замолчала. Затем поднялся такой шум, что ничего больше нельзя было понять.

Любимый учитель был смущен. Трус обратился к директору. Левый герой, всегда говорящий о сопротивлении власти имущим, – и пойти к директору! Могу тебе сказать: этот тип был лжецом. Директор пришел в класс и держал длинную речь. Он сказал, что на нас лежит вина и стыд. На нем – возможно, но не на мне. Меня не убедить в нечистой совести. Я никого не погубила, никого не убила, Гитлера не приветствовала. Если кто-то верит в то, что они в чем-то фальшивили, – хорошо. Пусть они повесят на себя терновый венец и рыдают до конца своей жизни. С меня достаточно. Достаточно того, что всегда только мы, немцы, – злодеи. И что все мы должны об этом помнить. Что это значит? Мы затеяли войну, отравляли евреев газом, разорили Россию? Я не хочу быть еще раз проклятой. И никто из моего класса, никто из моих друзей, а мой отец совсем уж не хочет. Он трепещет, если кто-нибудь постучится в дверь. Всех, кого в то время считали виновными, осудили в Нюрнберге, устроив тогда свой спектакль. Мой родной дедушка был одним из них. Что они еще хотят от меня? Каждый год в школе такой театр. Фильмы о концлагерях, картины о концлагерях – я не могу больше это слышать.

Бабушка говорит всегда, что дедушка был убит. Для нее это ни в коем случае не осуждение и не казнь. Она уже стара: ей восемьдесят пять лет. Сидит в кресле и часто разговаривает сама с собой. О дедушке она рассказывает только в отсутствие отца. "Он был красивый мужчина, – про-

износит она всегда при этом, – высокий, гордый, ни одна женщина не могла перед ним устоять, когда он был в униформе”. Бабушкино лицо при этом сияет. Немного рассказывает она и о Гитлере. Несколько раз видела его лично. Когда он входил в комнату, говорит она всегда, ментально все становилось навтыжку, каждый дрожал перед ним, даже дедушка. К сожалению, в конце войны Гитлер свихнулся, не случись этого, война не была бы проиграна. Да, кажется, все немного свихнулись, но бабушка рассказывает именно так. А евреи, думает она, должны были быть уничтожены, иначе бы они уничтожили Германию.

Да, да, я знаю, могу себе представить, что ты теперь думаешь. Тем не менее, она не совсем не права. Посмотри на нынешних евреев. Будто бы немногие из них уцелели. Но сегодня они снова сидят повсюду. Знаю ли я кого-нибудь лично? Нет, по существу нет. Но на телевидении, на радио, в банках, газетах, повсюду – снова евреи. Пример? Хорошо, дай мне подумать. Вот к примеру Розенталь со своим “Dalli Dalli”. Другой? Сейчас что-то никого не припоминаю. Я должна спросить у бабушки, она знает всех. Она постоянно пересчитывает: этот еврей, и этот еврей, и этот еврей, и этот еврей. Раньше, когда она еще могла ходить, мы часто гуляли по окрестностям тех мест, где жили мои родители. Тогда она мне показывала магазины, которые раньше принадлежали евреям. Они почти все держали в своих руках. Но сегодня, повторяет она всегда, владельцев небольших магазинов прогнали, а владельцы крупных вернулись. Они теперь богаче, чем прежде.

Пойми меня правильно, я ни в коем случае не расистка. Ничего не имею против евреев, они мне безразличны. И не знаю никого из них. Но упрекать меня всегда в том, что в свои девятнадцать лет я ответственна за все свинства против евреев – это ведь смешно. *Что* значит, что вы тогда всего лишились? А что *мы* теперь имеем? Когда моему отцу было двенадцать лет, они отняли у него отца – казнили его. Мать отца осталась одна с детьми почти без денег, обесчещенная. Дед годами приносил себя в жертву, “жил и боролся за отечество, а потом ему затянули петлю на шею”. Мой отец, вероятно, всегда находился под подозрением, но мне не за что на него обижаться. Я могу даже понять, почему он обратился к церкви.

Ты знаешь, иногда я хотела бы быть бедной еврейкой. По меньшей мере сегодня, раньше – определенно нет. Но сегодня... Все страдают, ты – всегда жертва. За свою нечистую совесть откупаются деньгами, и все двери для тебя открыты. Компенсация? Я это уже слышала! Но кто *нам* помог? Вчетвером мы жили на задворках, в трех комнатах. Мясо ели раз в неделю. О карманных деньгах на кино нам просто и думать нечего было. Если кто-нибудь мне их давал, то у меня отбирали.

Да, у меня есть еще сестра. О чем я говорю не очень охотно. Мы не особенно понимаем друг друга. Она на три года старше меня и во всех

отношениях – прямая мне противоположность. Всегда поступает только правильно. Она изучает медицину и хочет стать психиатром. “Я живу для того, чтобы помогать другим”, – это ее девиз. С бабушкой она один раз почти подралась. Лишь ключья летели. Бригитта, моя сестра, постоянно упрекает бабушку. Как могло случиться, что дедушка участвовал в этих преступлениях? Или она не имела никакого влияния на него? Бедная старуха никогда не знала, что ей ответить. Лицо ее краснело, она ужасно возбуждалась. Затем лицо принимало свою обычную окраску: он не был предателем, напротив, он был героем! Она гордилась им и еще сегодня гордится и, хотя они его погубили, всегда будет любить. Тогда Бригитта снова возмущается. Всегда одна и та же игра. Как будто они на сцене. Но Бригитта постоянно поступает так, как будто бы все происходило при ней, будто бы она всегда при этом присутствовала. Бабушка, мол, не все сделала, чтобы снять с себя большую вину. Изливая свое сердце, испуская вину, смеялась. Зачем? Что она вмешивается? Я совершенно не понимаю, чего она хочет. Она большая притворщица, ничего более. Каждый год она ездит в Израиль, чтобы добровольно и безвозмездно работать в лагере. Заседает в Комитете за мир, Комитете за взаимопонимание народов, Комитете против ненависти к иностранцам и Комитете за христианско-иудейское взаимопонимание. Говорю тебе, в один прекрасный день она еще организует Комитет подхалимов и сразу же станет его президентом.

За что я так зла на нее? Ты еще спрашиваешь? Такие, как она, привели нас к поражению. Старшая сестра – я не смеюсь – это пример для подражания. Чему я могу у нее учиться? Если кто-нибудь плюнет, она просит его что-нибудь выпить, так как считает, что у того сухо во рту. Она позволяет выплеснуть себе в лицо стакан пива и делает вид, что просто идет дождь. У нее и ее друзей нет никакой гордости. Она еще хуже, чем Армия Спасения. Такими должны быть новые немцы? Будущая элита, занимающая в университете, как политические бараны! То, что их отличает, – это вовсе не человечность. Это нечистая совесть, согнутые спины и страх. Естественно, я не хочу, чтобы повторилось все снова. Но для этого мы должны прежде всего быть сильными людьми, которые смогут всему этому противостоять.

А моя сестра и ее компания? Если такие здесь придут к власти, я уеду отсюда. Куда? Все равно, только отсюда. От этих стенающих “тряпок”. Если бы я смогла найти страну, которая никогда не проигрывала ни одной войны! По меньшей мере за последние пятьдесят лет. Мне хочется хотя бы недолго пожить среди победителей, а не среди вечно побежденных. Посмотри на французов – какими гордыми чувствуют они себя в своей стране. Или англичане. Даже русские. Кому-нибудь из них приходится, живя за границей, скрывать свою национальность? Моя сестра за границей разговаривает только по-английски, чтобы в ней не признали немку. Только представьте себе!

Тебе хорошо, ты австриец. Вы дали нам этого Гитлера, и после он же на вас напал. Сегодня мы – злодеи, а вы – жертвы. Моя мать тоже родом из Австрии. Из Зальцбурга. Ее родители еще живы. Они глубоко религиозны. Мать и привела отца в секту Свидетелей Иеговы. Этим они спасают свои души. Только я осталась на полпути к душеспасению.

Впрочем, сейчас мне иногда кажется, что я однажды была знакома с одним евреем. Он был американским солдатом. Мы познакомились с ним на дискотеке и пошли тогда в комнату одной приятельницы. Солдат носил на шее что-то вроде звезды. Как она называется? Думаю, еврейская звезда. Я попросила его объяснить, что это означает. Он ответил, что он еврей, и спросил, имею ли я что-нибудь против этого. Естественно, я ничего не имела. Но наше знакомство на этом закончилось. Он был не совсем такой, как прочие американские солдаты. Вероятно, немецкие евреи другие? Я не знаю. Как могу я их отличить? Теперь кругом бегают так много смуглых типов. Прямые носы, кривые носы, турки, итальянцы, югославы. Как можно узнать еврея? Какими я их себе представляю? Ты имеешь в виду внешний вид? Глупый вопрос. Такие, как на картинах или по телевизору. Конечно, они не выглядят так, как выглядел мой дедушка. Что я теперь делаю? Ничего. Я живу, этого ведь достаточно.

За год до завершения среднего образования они выгнали меня из школы. Но мне это было безразлично: я и так фактически не училась. Еще до этого я жила вместе с Петером. В первый раз я пошла к нему, чтобы уйти из дома. Тебе я скажу, что это была ошибка. В мрачной комнате Петера было больше воздуха, чем дома. Потом мы поженились. Совершенно по-старомодному. Петер купил себе старый спортивный “Мерседес”, и мы поехали в Италию. Безрассудство, говорю я тебе. В старой машине. Но и это прошло. Я попыталась вернуться в Берлин, чтобы найти работу. Ничего не нашла. Что они в бюро труда спрашивали! Они мурлыкали. Турчанка ли я? Мне стало тоскливо. Никакой работы они мне дать не могут, потому что у меня нет среднего образования. Пойти в школу – этого не выдержит никто. Теперь я сижу дома и жду, когда вернется Петер. Он с одним другом открыл собственную лавочку. Без шефа – это правильно сделано. Если я не найду другую работу, вероятно, буду работать вместе с ними.

Ты веришь, что все тогда было так, как нам сегодня пытаются внушить? Я могла бы быть такой же гордой, как они тогда. Всегда держать голову высоко и верить в будущее. Даже когда все проваливалось. Во всяком случае не так, как мой отец. Во что потом превратилась старая офицерская семья? В фотоальбоме моей бабушки все мужчины в военной форме. Не только дедушка. Прадедушка и прапрадедушка. Все они – горячие люди. Когда-то мы были кем-то. Господин и госпожа Генерал. Господин и госпожа Обермаршал или как они все тогда назывались? Бабушка и дедушка жили в то время на вилле в Грюневельде, не то что мы –

в трех комнатах в Моабите. Дед, рассказывает бабушка, имел собственного шофера и шестерых слуг. Что было – прошло. Господин и госпожа Министр – к чаю! Господин Барон такой-то – к ужину! Балы, приемы. Я не знаю, насколько верно то, что рассказывает бабушка. Но в этом слышится обреченность. Вероятно, старик, когда уже шел на виселицу, думал, что несмотря ни на что, он был вознагражден. Что он сделал такого страшного, что они его повесили? Никто не смог мне этого объяснить. Как часто спрашивала я позже об этом моих родителей! “Он был плохой человек”, – всегда следовал один и тот же ответ. “Черт в нем сидел”, “миллионы людей на его совести”, “принес человечеству несчастья” и т. д. Ни одной нормальной фразы. Ни одного объяснения, которое я могла бы понять. Кем он был? Магом? Кем-то из цирка, кто может сделать так, что люди исчезают? Не знаю, так ли я глупа, чтобы все это повторять, или *те*, кто все это мне рассказывал?

Но чаще всего вообще нет никаких ответов. Заходит разговор о душе – родители сразу же начинают молиться. А я тебе говорю, меня никто не может убедить, что быть немцем – это позор. Время прошло. Петер и наши друзья думают так же. Активисты 68-го знают нас мало. Они мечтают податься в деревню, выращивать овощи, есть оливки, сеять хлеб и разводить кур.

Я не люблю “зеленых”. С ними никакой новой гордости не будет. Они боятся атомной войны, химической промышленности, гибели лесов, народной переписи населения. Каждый день они уверяют нас, что в скором времени мы погибнем. Сидят в парламенте в рабочих комбинезонах и твердят о конце света. Они как мои родители.

Есть ли у меня пример? Как ты думаешь? Скажи мне, за кого я должна здесь держаться в Германии? Кто может быть для нас примером? Вчерашние старые нацисты? Или новые “зеленые”? Или такие, как мои родители, которые всю жизнь дрожат. Как ты думаешь, с кого мы в нашем возрасте можем брать пример здесь, в Германии? Ни с чего и ни с кого. Это последние из могикан.

Кого я считаю сумасшедшим? Себя.

ВИНОВНЫЙ

Рудольф (36 лет)

Вы знаете, вина меня преследует. А кто виновен, того и накажут. Если не здесь и теперь, то в какое-нибудь другое время и в другом месте. Наказание меня еще догонит. Мне его не избежать. Но о том, что было, вы от меня ничего не узнаете. Ничего, ни единого слова. То, что они сделали, должно остаться тайной, никто не должен об этом знать. Их дела, вернее, злодеяния нигде не должны упоминаться. Ни одним словом.

Вина лежит сегодня только на мне. Мои родители уже в аду. Они давно мертвы, их жизнь уже позади. А меня оставили жить. Рожденный виновным, я и остаюсь виновным.

Самое страшное – это сны. Они приходят ко мне каждую ночь. Всегда один и тот же сон. Я знаю его, как фильм, который видел уже сотню раз. Они хватают меня из постели, силком тащат через комнату, по лестнице и вталкивают в авто.

Они – это мужчины в полосатой униформе. Авто мчится через город. Снаружи в него проникает шум. Люди кричат “ура” и пронзительно визжат. Порой мне кажется, что когда мы едем по улице, прохожие приветствуют нас. Мы подъезжаем к зданию, которого я не узнаю. Меня стаскивают по ступеням в подвал, срывают ночную пижаму и вталкивают в какое-то помещение. Дверь за мною запирают...

На стене – душ, и в душевые отверстия, тихонько посвистывая, как будто из плохо завинченного велосипедного клапана, медленно уходит воздух. Мне трудно дышать, сдавливает горло. Бросаюсь к двери, пытаюсь ее открыть... Трясу ее, кричу, горло перехвачено, глаза горят – и тут я просыпаюсь. Чаще всего встаю и уже больше не подхожу к кровати. Спать я больше не могу. Едва смыкаю глаза, все начинается снова – меня стаскивают с кровати и так далее...

Бывает так, что этот сон я вижу раза два в неделю. Часто месяцами он мне не снится, но однажды приходит снова.

Врачи? Я был уже не меньше чем у дюжины. Больше всего мне “нравятся” те, кто спрашивал меня, что означают эти сны. Каково мое мнение, почему они мне снятся? Кто из нас сошел с ума? Должен ли я им рассказывать, что я... Начхат!

Иногда я себе представляю, что убиваю кого-то. Выискиваю кого-нибудь мне неизвестного. Убиваю его и являюсь в полицию. Все кончено. Оставшуюся жизнь я сижу в тюрьме. Там, где и должен быть. Раз уж в ней не сидел мой отец. Меня мучают, бьют целыми днями. Я должен выполнять бессмысленную работу. Но все это лучше, чем теперь. Посмотрите на меня. Невинный, я живу жизнью виноватого.

...Родители бежали в Южную Америку. Другая фамилия, новые паспорта. Новое начало в “свободном мире”. Но не анонимно, как ты думаешь. В окружении истинных друзей и соратников по борьбе. Приезжают в новый город, их там уже ждут, отвозят на машине... Друзья обнимаются, их провожают в новый дом, где все уже есть, и начинается иная жизнь. Пока не приходится уезжать. И снова, в другом месте – встречают. Нас ждали повсюду.

...Я родился в 1950-м. К тому времени, когда мне исполнилось десять лет, мы переезжали уже четыре раза. Затем стало спокойней. Мы постоянно жили в какой-нибудь южноамериканской стране. Никто нас больше не искал. Или, по крайней мере, не находил. Вы не поверите, но позже мы снова получили немецкие паспорта.

Ныне я – немец. Немец и сын преступника. Осужден пожизненно; основание – сын убийцы. Осужден за родителей, которые жили, как мясники. Знаю ли я, что они в действительности делали?

Вероятно, мой дорогой папочка, который приводил домой женщин из лагеря, наутро отправлял их в газовую камеру. Или сохранял им жизнь, помогал как-то... А любимая мамочка возвращала своего шофера в зону, если машина недостаточно блестящая, – и заводила себе нового.

“Ничего такого” он не делал. “Ничего такого” и она не делала. А что же было? Например, приезжают на грузовике в польскую деревню. Евреев высаживают на кладбище, женщин и мужчин порознь. Мужчины выкапывают длинный ров, женщинам и детям приказывают раздеться и аккуратно сложить свою одежду и драгоценности в различные кучки. Однажды, один-единственный раз, отец был настолько пьян, что говорил о том, как это было ужасно, когда приходилось поодиночке добывать детей из пистолета, – “эти идиоты-солдаты целились из пулеметов слишком высоко, по взрослым”.

Господи, любимый папа! Каким хорошим человеком он был! Он плакал, рассказывая об этом. “Это были ужасные времена, – причитал он, – слава Богу, что они уже прошли”. Он ошибался, мой любимый папа. Эти времена не кончились.

Знаете ли вы песню “Они пришли, чтобы меня увезти”? Я пою ее всегда про себя.

Они еще вернутся, говорю я вам. Мои родители свое уже получили. В 1968 году они погибли в автомобильной катастрофе – сгорели в машине. Треск, грохот. Их нельзя было опознать. Это было великолепно, как атомная вспышка! К сожалению, я этого не видел, но охотно бы на это поглядел. Их обоих похоронили в Аргентине, хотя в завещании моего отца было оговорено, что он хочет быть похороненным в Германии. Но я этого не сделал. Я помешал этому! После его смерти ничто не должно было иметь продолжения. Никаких приказов, никаких предписаний.

Ночью после похорон я вернулся на кладбище и помочился на их могиле. Топтал все вокруг, бушевал, плакал: это было ужасно. Мой прощальный привет. Больше я там не был. И самому мне не хотелось бы быть там захороненным.

Почему моим родителям пришла эта безумная идея: после всего, что было, иметь еще одного ребенка? Создать семью. Как это понимать: жили как черти, а как умереть – так ангелами, что ли? Мы всегда жили хорошо, все имели. Денег было всегда достаточно. “Акции Райнхарда”, Вам это что-нибудь говорит? В тех краях многие были из Германии. С таким же прошлым, как и мои родители. Все жили хорошо. Большие дома, бассейны, прислуга. Средства поступали от “Райнхарда”. Кое-что прихватили из Германии.

Когда мне было десять лет, отец купил свой дом и открыл бюро по продаже недвижимости. Он пригласил в гости всех своих товарищей из нашей округи. Многие жили здесь еще раньше. Вокруг все было немецким. Немецкие школы, немецкие магазины, по воскресеньям все посещали церковь, потом пили пиво в маленьком ресторанчике. Обычно только свон, немцы-“победители”. Да, поражения здесь не замечали. Разбомбленные города мы знали только по картинкам. Здесь, в Аргентине, все постоянно в цвету. Вечная весна, плодоносящая земля. Рай для “победителей”.

“Зачем я появился на свет?” Знаете вы эти слова? Так сказал Йодль после того, как его в Нюрнберге приговорили к смертной казни. Блестящая фраза. Хороший вопрос, не правда ли? Я читал все, что тогда говорилось на этом процессе. Франк был единственным, кто выразил сожаление по поводу того, что произошло. Я часто представлял себе, что сказал бы мой отец. Думаю, он ни одним словом не выказал бы сожаления, не упомянул бы о своей вине.

Когда он бывал трезв, то был героем. Победителем! Всегда голос немного громче, чем у других, всегда серьезен, решителен. Не посмеивался, а смеялся, громко смеялся, а затем снова – серьезен и собран. И прежде всего справедлив и последователен. Приходит кухарка на работу на десять минут позже – ей отказывают от места. Он регулярно проверяет состояние газона после того, как его подровняют. Новой прислуге точно объясняется, как должны стоять стаканы в стенном шкафу. И наказывали меня согласно определенному ритуалу. Я, подняв руки вверх, должен был стоять у стены. Отец бил меня по заднице пять раз тонкой бамбуковой палкой, мать находилась рядом и наблюдала. После этого она обнимала меня и утешала, отец уходил. Потом я должен был зайти к нему в комнату и попросить прощения. Оказывается, я его, беднягу, огорчал.

Однажды из шкатулки, которая стояла на письменном столе моего отца, пропали деньги. (Он всегда держал там немного денег для чаевых.) Отец решил показать нам, как следует поступать в таких случаях. После

обеда он созвал прислугу: кухарку, горничную, садовника. Им был дан час времени (при этом он расхаживал перед ними взад и вперед) на то, чтобы они указали виновного, иначе их всех уволят.

Мне было тогда двенадцать лет. Для меня это был важный момент. Я окликнул отца и сказал, чтобы он оставил прислугу в покое, – деньги взял я. Отец отослал прислугу из комнаты и орал, как помешанный. Но знаете, что его больше всего бесило? Он неистовствовал потому, что я сказал это по-испански! Он кричал, что я опозорил его перед прислугой. Это был мой первый маленький триумф. Я был горд тем, что вывел героя из равновесия.

В нашем районе жили евреи-эмигранты. Все тоже из Германии. В школе, в некоторых классах, одну половину учеников часто составляли евреи, другую – неевреи, большей частью дети старых нацистов. При этом – никаких личных контактов между ними. Более того, нередко дело доходило до драк и настоящего группового насилия. Я не был драчуном. Я был толстяк и сластена и в драках вечно бывал бит. Истинно офицерский сынок. Но другие ребята нашей банды вели себя, как на войне. То они нападали и избивали кого-нибудь из евреев, то те колотили одного из нас – это происходило регулярно, с переменным успехом. Я для этого не подходил, со мной не хотели играть, на меня не обращали внимания. У меня совсем не было друзей. Чаще всего я бывал один, ни с кем не дружил – ни с теми, ни с другими. Как будто мертворожденный, искусственно возвращенный к жизни: искусственная почка, железные легкие, пластиковое сердце, а руки и ноги привинчены к телу.

В последние три года я превратил жизнь моих родителей в сущий ад. Когда они погибли, мне было восемнадцать. И уже с пятнадцати лет я стал жить с другими мужчинами и молодыми парнями. Когда родители узнали, что я педераст, они хотели меня убить (или сначала меня, потом себя). Пожалуй, и автомобильная катастрофа была не случайной.

“Для тебя здесь был райский уголок”, – вечно скрежетала моя мать. Она знала, о чем говорила. Но то, прежнее время прошло. Напротив. Блондин с голубыми глазами, я тогда был “хитом” в Аргентине.

Итак, возрождение не состоялось. Для моих любимых родителей новая жизнь в Южной Америке зашла в тупик. А все начиналось так многообещающе. Новая жизнь в стране, не знавшей войны. Успех, красивый дом, друзья. Рождественская елка, детский хор, день рождения Гитлера, 10 января, радостные и праздничные дни. Им нечего стало бояться после 1960 года. Они чувствовали себя, как в Германии до 1945-го. Пока мать не нашла у меня под кроватью порнографические книжонки. Пока она не получила подтверждения того, чего она и не могла себе представить. К такому они не были готовы. Это настолько застало их врасплох, что они сломались. Их несокрушимая “крепость” пала и разрушилась.

О немецкой чести не было и речи. Поняв, что я педераст, они полностью отстранились от меня. Они больше не заговаривали со мной об этом никогда. Вообще теперь очень мало стали говорить. Больше никаких визитов, никаких пивных, никаких почетных должностей в комитете по проведению карнавалов... Они прятались, как улитки. Бедняги, они стыдились меня. В первый раз в жизни им было стыдно.

Когда я понял, что за удар им нанес, для меня не осталось никаких преград. Я стал приводить друзей домой, носил вызывающе крикливую одежду; когда у родителей бывали знакомые, вел себя, как чопорная дама. Так я с ними раздельвался. Видели бы вы тогда моих родителей! За несколько месяцев они совершенно изменились. Я вылетел из школы по причине “сексуальных домогательств к другим школьникам”, как сказал директор. Отца пригласили в школу. Думаю, это был самый черный день в его жизни.

Уверен – ему было бы легче, если бы он предстал перед судом по обвинению в убийствах. Все было бы лучше, чем это. Но собственный сын – педераст?!

Я не имею права заводить детей. Наш род должен прекратиться вместе со мной. Что мог бы я рассказывать своим детям об их любимом дедушке? На мою долю выпало отомстить, и это справедливо. Слишком долго я жил со своими родителями, и кто знает, что еще во мне сидит. Это не должно передаваться дальше. С гордой аристократией уже покончено. “Фон” в моей фамилии может обозначать только место моего рождения. Если Вы этим интересуетесь, то помните – скоро уже некого будет спросить.

Последний год перед смертью родителей я вел распутную жизнь. В школу я больше не ходил, работу не искал, родители больше не заботились обо мне. Я много читал тогда. Прочитал все, что смог найти о третьем рейхе. И постоянно наталкивался на имя моего отца. Не хочу здесь его называть, все должно остаться анонимным. Но уверяю Вас, все, кто знал моих родителей, наверняка понимают, о ком идет речь. Они будут шокированы. Я уже сейчас заранее радуюсь выражению их лиц.

Постепенно я узнавал, кем был мой отец. Но это было так, будто бы все мне уже было известно раньше. Ничего нового я не прочел. Все оказалось подтверждением моих предчувствий и подозрений. Из прочитанного и рассказов отца складывалась одна и та же картина. Ее дополняли рассказы матери – часто случайные, как бы между прочим.

Вероятно, я их погубил. Возможно, они намеренно врезались в дерево, отпустив тормоза. Но почему меня не было с ними в машине? От чего это меня избавило бы? Для чего это ожидание теперь? После смерти родителей я все продал и вернулся в Германию. У меня ведь был немецкий паспорт. Денег было достаточно.

Последние годы я ничего не делаю. Работать мне не нужно, по крайней мере до тех пор, пока еще есть деньги. Учиться я не могу, потому что нет свидетельства о среднем образовании, а заканчивать школу у меня нет никакого желания. Пятнадцать лет я ничего не делал. Я – профессиональный неудачник. Долгие годы меня к этому готовили. Иногда я желаю себе, чтобы все кончилось быстрее. Надо надеяться, что меня скоро арестуют.

НЕВИНОВНЫЙ

Иоганн (38 лет)

“Я думаю, ты видишь все в ложном свете. Речь сегодня больше идет не о том, что прошлое преодолено или продолжает жить в ком-либо, как во мне. А о том, чтобы ты, я и все мы вместе были готовы выгнать ненависть, сидящую в нас, заменить ее любовью, пониманием и солидарностью.

Общее умение идти навстречу друг другу и понимать друг друга – наша единственная надежда. Но для этого необходимо порвать с прошлым. Похороним его сообща. Обратимся же к новым целям! Мир, справедливость, равноправие мужчин и женщин, проблема иностранцев, безработица, разоружение – решить эти проблемы достаточно не просто.

Зачем же постоянно цепляться за прошлое? У нас, немцев, сегодня есть более важные задачи. Будем общаться с прошлым в музеях, пусть оно станет частью изучения истории. Прошлое не должно ослаблять наши силы сегодня, тем более в будущем, ибо вся наша энергия понадобится для того, чтобы не допустить гибели современной Германии. Но и вечно вчерашних мы не должны осуждать. Мы должны попытаться понять их состояние. Понять их чувства и, прежде всего, быть честными по отношению друг к другу. В один прекрасный день любовь все преодолеет, это единственная сила, единственно подлинная сила”.

Что ты скажешь об этом тексте? Я его подготовил потому, что знал о твоём сегодняшнем приходе. Примерно так хотел говорить с тобой.

А теперь честно расскажу здесь о себе, совершенно честно и открыто. Мои родители были злыми и подлыми людьми. В их крови был яд, а у дыхания – серный запах. Но у них не имелось ни зубов вампира, ни рогов; внешне они выглядели так же, как казненные борцы Сопротивления. Одинаковый облик, одинаковые лица, одинаковая одежда, одинаковые причёски. Ничего, что можно было бы распознать извне, и для многих – ничего, что помогло бы понять их сущность.

Мой отец был государственным служащим на железной дороге. Перед войной, во время войны и после нее. Маленький чиновник высокого ранга, вначале совсем внизу, затем наверху, но всегда – маленький чиновник. Приличный, сдержанный, неподкупный. Сначала член компартии, затем – нацистской партии и под конец – социал-демократ. Плавно восходящая карьера, без неожиданностей, без перегибов или нежелательных волнений. Его железная дорога перевозила бастующих рабочих во времена Веймарской республики, отправлявшихся на загородную прогулку в 30-е годы, солдат и заключенных концлагерей – в 40-е, потом снова едущих за город. Кто заплатит – может ехать, куда хочет, все равно – он или она. Работа была жизнью отца. Результатом, физическим понятием – работа в единицу времени. Функционирования самого по себе было недостаточно.

Он настаивал на различии между ним и машиной. Действовать, а не функционировать. Человеческим звеном в цепи правил. Определенная работа в единицу времени была для него законом. Можно себе представить нечто подобное в роли отца? Это все равно что картина современного абсурдиста. Стоишь перед ней, хочешь понять ее структуру и не видишь ни смысла, ни значения. Однако пытаешься ее постичь. Я годами стремился познать своего отца и почти отказался от этой затеи. Случай помог мне понять его.

Мне было четырнадцать лет, и, как каждый год, мы проводили летний отпуск в Италии. Мои родители любили Италию. Мы всегда ездили в один и тот же кемпинг на Адриатике. Именно в то лето на нас напали и ограбили. Простая история. Когда мы возвращались из ресторана в кемпинг, который находился за городом, несколько парней на мотоциклах остановили нашу машину. Они стояли посреди дороги, и мы вынуждены были затормозить и выйти. У нас отобрали деньги, фотоаппараты и позволили ехать дальше. Все это длилось две-три минуты. Что же мой отец? Он стоял перед ними на коленях на дороге и от страха плакал. Пронзительно кричал и рыдал, упрасывая, чтобы они его не трогали, брали все, только, Бога ради, не трогали его.

Меня поразил его страх, это полное падение, ужасающая трусость; безграничный страх был самой большой его тайной. Он всегда должен был быть на стороне сильного. Что ему еще оставалось?

Его жизнь была своего рода наставлением по выживанию. Он сохранял каждый свой партийный билет. Когда после смерти отца я освобождал его письменный стол, то нашел их все. Взносы были заплачены всегда полностью – до соответствующей даты выхода. Сказать “приспособленчество” будет недостаточно. Это своего рода самоотрицание личности, которой, однако, и не было. Он всегда примыкал к тем, кто мог бы быть угрозой для него. Он никогда никого не осуждал. Я ни разу не слышал, чтобы он ругал нацистов, левых или правых; для него не было противников, только союзники, единомышленники, одинаково мыслящие с ним начальники. Система, которая функционировала благодаря трансформации в любом возможном направлении до того, как последует приказ. У него был талант предугадывать запросы появляющейся новой власти и готовиться к этому. Он вел себя так и со мной. Между нами не было ни одного разговора, в котором я не чувствовал бы себя уличенным. Страх, мучавший его, он умел передавать другим. Его вечно нечистая совесть была каторгой, которая делала мою жизнь, пока я жил дома, невыносимой.

В детских фантазиях я воображал себя преступником и искал пути, чтобы не попасться. В своих мечтах я грабил банки, нападал на людей, убивал их и никогда не бывал схваченным полицией. Нераскрытое пре-

ступление стало моей неотвязной мечтой. Убийца, которого постоянно ищут, но не находят. Всегда преследуемый, почти обнаруживаемый.

В школе я начал воровать. В пятнадцать лет систематически обшаривал одежду в гардеробе и брал все, что мог найти в куртках и пальто моих соучеников: расчески, проездные билеты, карандаши, игрушки и, конечно, деньги. Дома соорудил настоящий склад. В двух выдвижных ящиках моего письменного стола смастерил перегородки, надписав, что находится в отдельных секциях. Как видишь, я рано начал. То, почему ты сегодня меня видишь здесь, то, что сейчас можешь в порядке исключения¹ посетить меня, началось раньше. Безупречная карьера, как у моего отца.

Продолжим о школе. Вещи тогда я все сохранил, а деньги потратил. Меня ни разу не поймали. Каждому в школе было известно, что воруют. Директор даже вызвал однажды полицию. Нас допрашивали поодиночке. Где мы были, в какое время, когда уходили из школы. Я выдумал для них историю – без подготовки, экспромтом. Они поверили каждому моему слову. На меня никогда не падало ни малейшего подозрения в том, что я виновен. Никому это даже не пришло бы в голову. Я был обыкновенный мальчик, неприметный, худой, всегда прилично одетый, нормальный, скромный и без претензий. Однако выглядел как изделие выполненное из крупповской стали. Я олицетворял собой тонкое различие между безобидностью и безвредностью. Ничего сложного не скрывалось под обычной внешностью. Напротив. Играть роль наивного, невинного было необычайно увлекательно. Под этой личиной скрывался просто маленький ворышка.

А тогда в школе это переживание было для меня триумфом. Безнаказанным, без необходимости оправдываться. Безгрешный, свободный от вины и подозрений, я продолжал воровать. Совершенствовал свои методы, воровал все больше, постоянно пополняя свой склад. До тех пор, пока мне это не надоело. Превосходство тоже может наскучить.

Когда мне было восемнадцать лет, отец вышел на пенсию. Через три месяца он умер. Мать жива и сейчас. Спокойная, замкнутая. Получает пенсию за отца. Маленькая, худенькая, приятная дама. Со мной разговаривает так же, как с молочницей, таксистом или ребенком, сидящим с ней рядом в автобусе. Через год после смерти отца она рассказала мне, что он не был тем порядочным человеком, каким я его, возможно, себе представляю. Повела о транспорте с евреями, железнодорожных составах, направлявшихся в лагерь смерти, о соучастии и ответственности отца. Прозвучало даже слово “со-виновник”. Ее намерения были добрыми, но случилось это слишком поздно. Что можно было теперь поправить? Слишком долго это замалчивалось. Отец был мертв. Преступник был мертв. А я не мог от этого отделаться и судить его.

¹ Интервью было взято в тюрьме.

Мать становилась все более милой, иногда даже сердечной. Однако чем больше она пыталась сблизиться со мной, тем сильнее я избегал ее. Внезапно возникшая любовь к сыну была для меня непереносима. Попытки начать новую жизнь теперь, после смерти мужа, постоянно вызывали во мне отвращение. Для меня отца больше не существовало, а мать значила для меня слишком мало. Что же моя жизнь? Я не знаю, это трудно объяснить. Могу вспомнить некоторые подробности. Все шло автоматически. Каждый день школа, дом, еда; не знаю, это как часовой механизм. Никогда со мной не разговаривали. Любимое выражение матери: “Ведь ты знаешь... – ведь ты знаешь, что отец этого не любил..., ведь ты знаешь, что по воскресеньям мы всегда ужинали в семь часов..., ведь ты знаешь, что мы так много работали, чтобы обеспечить тебе лучшее будущее”.

Я все это знал. Знакомые мне намерения, должно быть. Трогательным было безусловное пожелание мне лучшего будущего. Верю, что так же искренне думал и мой отец. Если б можно было ставить ему в вину все: его слепоту, холодность, манию повторения – сегодня должно было подходить на вчера, каждое движение... Тогда он был счастлив. Вместе с тем, он не был злым человеком, по крайней мере в своих намерениях. Он не желал зла, но боялся сделать что-либо доброе, если с этим было связано хоть малейшее сопротивление начальству. Я думаю, он просто не различал хорошее и плохое. Кажется, Кестнер сказал: “Нет ничего хорошего, за исключением того, что делается”. Применительно к моему отцу это должно звучать: нет ничего хорошего за исключением того, что не делается.

К Рождеству я всегда получал наборы деталей, из которых можно было собрать разные игрушки. Отец мог неделями мастерить для меня деревянный автомобиль или тачку. Вручение подарков всегда было крайне торжественным моментом. Родители стояли с широко распахнутыми глазами и открытым ртом и ждали, пока я распакую большой деревянный ящик. Наконец из бумаги вылезал лакированный монстр – и, вы не поверите, я бывал очень рад. Да, честное слово, я был в восторге. Во всяком случае так было до двенадцати или тринадцати лет.

И все другие события многие годы происходили совершенно одинаково. Например, Пасха. Этот праздник протекал по одному и тому же сценарию из года в год. Несколько раскрашенных яиц, шоколад – все это пряталось в комнате. Родители стояли в дверях и смотрели на мои поиски. Они тихо смеялись, когда я что-нибудь находил. Потом все это складывалось в одну коробку, и я должен был каждый день съедать по штуке. А для меня было само собой разумеющимся, что ежедневно можно было съесть только что-то одно. Мне не приходила в голову мысль – взять лишнее или в один вечер съесть все.

Только спустя годы, когда уже стал наполовину взрослым, я начал размышлять над этим абсурдом, этим бессмысленным повторением одного и того же. Но что было в том особенного? Ничего, абсолютно ничего.

Я не могу припомнить, чтобы мой старик кого-нибудь ругал. Никакой ненависти к неграм, евреям или гомосексуалистам. Он был немного ниже меня ростом, темноволосый, всегда зачесывал влажные волосы назад. Они прилипали у него прямо к черепу. Плечи слегка наклонены вперед, казалось, что в любой момент он может споткнуться. Белье он всегда носил по два дня. Каждый понедельник, среду и пятницу мать готовила ему пару носков, нижнее белье, верхнюю рубашку. Все было по заведенному. В мае он покупал летний костюм, в сентябре – пальто на зиму. Я знал о нем все. Каждое его движение было предусмотрено. Ничто не являлось неожиданностью. За исключением, как я уже рассказывал, той ситуации в Италии. Если бы этого случая не было, я не знал бы о втором его лице.

Часто я представлял себе, как родители спят друг с другом. Их спальня была рядом с моей комнатой, в перегородку был встроены большой платяной шкаф, но шум не проникал из одной комнаты в другую. Когда я открывал дверцу шкафа и прикладывал ухо к его задней стенке, то мог слышать, что они делают. И это было таким же регулярным занятием, как и все другие. Они занимались любовью каждую среду. По скрипу кровати я вел счет. Точно на двадцать пятьм скрипе все заканчивалось. Никаких стонов, никаких вздохов. Двадцать пять раз “скрип-скрип”, и потом снова неделя ожидания. Как он жил, так и умер. Однажды после еды он прилег, чтобы отдохнуть. Когда через час мать пошла его разбудить – он всегда спал после обеда только один час, – то нашла его в кровати мертвым. Ни крика, ни отчаянных попыток преодолеть смерть, ничего. Он был мертв. Покинул этот мир, этот маленький, жалкий мир, который он мне оставил. Почему я хотя бы один раз не дал ему по морде?

Моя же жизнь продолжалась. После завершения среднего образования я начал работать в банке. Это место подыскал мне – как же могло быть иначе – друг моего отца. Работал я охотно. Цифры, только цифры: проценты, дивиденды, перечисления. Прыжок из маленького мирка в мир больших денег. Кое-кто одной подписью двигал там суммами большими, чем я мог заработать за десять лет. Если быть честным, меня тогда занимала одна-единственная мысль: как можно этих типов околпачить? Меня не привлекало крупное ограбление банка, скорее – нарушение системы перемещения денежных средств, осуществляемое с помощью компьютера. Я работал просто с яростью. Мои начальники были воодушевлены таким рвением, на мать это производило впечатление, мне предсказывали большую карьеру. И она начиналась так, как и должна была начаться. Каждые два года – новый письменный стол, столы становились больше, стулья мягче, костюмы и автомобили дороже. Я преуспевал. Когда я стал руководителем филиала, то с помощью сложной, но все же не мудреной системы начал утаивать деньги. Каждый месяц переводил на свой счет в Швейцарии десять тысяч немецких марок.

Я точно даже не помню, что тогда делал. Так, мелочи: путешествия, азартные игры, иногда в сопровождении женщины. А раз в два месяца исчезал, устраивая себе продленный уикэнд. Рано утром в пятницу снимал со счета в Цюрихе деньги, потом дальше – в Ниццу, Рим, Монте-Карло или еще куда-нибудь. Три дня я был господином, сэром, князем. Если кто-нибудь всего лишь придерживал передо мной дверь, я давал ему больше чаевых, чем зарабатывал сам за день.

Эти несколько дней, которые я себе позволял, были новой жизнью. Я был здесь совсем другой. Никто не интересовался, откуда я прибыл, кто мои родители, какая у меня профессия. Деньги создавали абсолютную анонимность. Я не оплачивал свое прошлое, но обретал огромное состояние, чтобы за пару дней снова его спустить. Платил всем, что имел – деньгами и своей свободой. Но это того стоило. Вы знаете, что значит жить без прошлого? Оно для меня просто не существовало. Я платил за то, чтобы все вокруг не интересовалось мною. Чтобы их не занимали мысли о том, кто я и откуда. У меня не было желания быть по отношению к кому-либо несправедливым. Закон? Право? Смешные понятия. Мне нужно было только то, чем я пользовался. Такая маскировка, конечно, дорого стоила, но была для меня жизненно необходима.

Естественно, меня поймали. Я сознался. Меня приговорили к восьми годам заключения, пять из них я должен еще отсидеть. Но поскольку веду себя как полагается, выполняю свои обязанности, меня обещают освободить раньше. Кроме того, теперь я уже могу каждое второе воскресенье выходить за пределы территории. Спросите только, какое это имеет отношение к жизни моего отца? Он никогда не входил в конфликт с законом. Напротив. Сама благопристойность. При любом начальнике, в каждой системе он был примером для других. Разве моя мать (спустя год после его смерти) попыталась мне разъяснить, что он был двурушником, помощником убийц? Одним из тех, кто подает палачу веревку, предварительно основательно осмотрев ее и признав пригодность. Он был начальником отдела, имеющего отношение к технике, а не к людям. Теперь я могу сделать для себя выбор, кого презираю больше – отца или мать. Как хороша была бы жизнь без прошлого. Иногда я думаю, как было бы хорошо, если бы они умерли, когда я был еще маленьким ребенком.

РАССТАВШИЕСЯ

Райнер (38 лет) и Бригитта (43 года)

Райнер: Меня зовут Райнер. Это Бригитта, моя сестра. Мы родом из нацистской семьи. Наш отец был...

Бригитта: Мы происходим не из нацистской, а из офицерской семьи. Я знаю, что у нас нет общего мнения о наших родителях. Возможно, мы объединим свои представления, используя одни и те же понятия.

Райнер: Мне все равно, как ты хочешь. Ты можешь рассказывать свою версию. Для меня это – нацистская семья. Собственно, семья военного преступника. Не каждый нацист обязательно был военным преступником. Но наш отец был и тем, и другим.

Бригитта: Я не участвую в разговоре, если ты так начинаешь. У меня нет никакого желания с самого начала выступать в роли адвоката. Тогда я лучше откажусь от интервью. Я и без того считаю слабоумием здесь, перед другими людьми, показывать, как по-разному мы думаем о наших родителях. Или каждый из нас дает свою интерпретацию, или я сейчас же уйду.

Райнер: Хорошо, хорошо, будем объективными. Наш отец – необходимо это сказать – был офицером вермахта высокого ранга. Вместе с коллегами он планировал военные действия против “недочеловеков”, создавая тем самым жизненное пространство для немцев. С Украины поставлялось им зерно, из Румынии нефть, из Польши уголь. Для него война была азартной игрой, связанной с передвижением разноцветных флажков на карте. Несколько дивизий – на север, несколько дивизий – на юг. Самолеты – направо, танки – налево. И победа обещает столь многое, как при хорошей сделке.

Бригитта: Цинизм больше тебе не поможет: он был твоим отцом. Я как сейчас вижу тебя, сидящим у него на коленях, когда он читает тебе вслух разные истории. Я вижу тебя в нашем саду, играющим с ним в футбол, во время прогулок – как ты ищешь его руку, потому что устал и совсем без сил. Он был тебе отцом, примером и героем. Ты ничего не знал о его прошлом, и это было тебе безразлично. Ты родился, когда война уже закончилась. Последние месяцы катастрофы ты не застал. Что ты знаешь о бомбежках, бегстве от русских, страхах в семье, когда отец был арестован? И потом, вдобавок, суд над ним. Соседи, бывшие друзья – внезапно оказалось, что все они всегда были противниками нацизма. Господин М., эта свинья, до сих пор живет в “аризированной” вилле, недалеко от нас. На процессе он выступил против отца.

Четыре года отец сидел в тюрьме. Ты можешь сказать мне – за что? Миллионы с криками “ура” отправились на войну. Тысячи принимали участие в преследовании евреев и обогатились. Он не взял себе ничего из

принадлежавшего евреям. Свою виллу он оплатил из собственных доходов. Он никогда не имел дела ни с СС, ни с концлагерями, ни с расстрелами женщин и детей. Он был солдатом. Но не преступником. Я не понимаю, почему ты можешь так говорить о нем.

Райнер: Он не был одним или другим. Отцом или преступником. Он был и тем, и тем. И именно в этом я его упрекаю. Как мог он играть со мною в футбол, будто бы ничего не произошло? Кого он играл одновременно в своей жизни? Генерал, отец, муж и член правления банка – его следующее почетное занятие? Мне вспоминается время, когда я был маленьким. Мама всегда хотела, чтобы я не был отцу в тягость. “Он может так сильно разволноваться”. Позднее, когда я учился в школе, то не должен был говорить о своих плохих отметках: это тоже будет его волновать. И в том случае, когда я, будучи студентом, участвовал в демонстрациях – только не волновать отца. Я всегда должен был лишь жалеть его. Щадить его, чтобы он не ведал о моих заботах, моих проблемах. Доставлять ему только радость – как играющему в мяч, смеющемуся ребенку. Знаешь, кем был тогда отец по отношению ко мне? Он был домашним животным, о котором заботятся. Такая осторожная, деликатная забота. Такое “не приходи к нему, бедному, близко”. Не допустить ни одного конфликта, ни единого серьезного разговора. Проскользнет лишь слово о нацизме – мама тотчас же отреагирует своим ледяным взглядом и обычными фразами: “Оставьте отца в покое! Он достаточно испытал! Семь лет войны и четыре года тюрьмы – это уже чересчур для одной жизни”. Как чуело, сидел он здесь всегда, как кукла.

Бригитта: А в моих воспоминаниях ты – другой. Вот ты, шестилетний, пришел домой со своим первым табелем. С какой гордостью ты показывал свои медали, полученные в соревнованиях по плаванию. Идешь в воскресенье после обеда с отцом в кино, просишь его читать тебе вслух книги Карла Мея. Вы были всегда, как одно сердце и одна душа. Ты веришь, что маленького ребенка можно обмануть? Он любил тебя и всегда был тебе хорошим отцом, так же, как и мне. Сегодня твои тирады, полные ненависти, как я думаю, адресованы не столько ему, сколько самому себе. Что ты только не предпринимал, чтобы представить себя как жертву! Страх быть потомком убийцы развил в тебе нечто ужасное. Не лги себе, ты остаешься сыном немецкого офицера. Даже когда ты работал в Израиле в киббуце. В университетских группах для рабочих ты читал образцовые доклады по теории фашизма. Ты остаешься сыном немецкого офицера, даже когда во время уличной демонстрации участвуешь в потасовках с так называемыми неонацистами. Несколько лет назад ты даже надумал перейти в иудейство. Что все это должно значить? Ты веришь в то, что таким образом можно уйти от своего прошлого? Пойми же наконец! Ты происходишь из немецкой офицерской семьи. И все это у

тебя в крови, так же, как и у меня. И даже если ты станешь раввином, даже тогда ничего не изменится.

Райнер: Ты говоришь так, будто у тебя самой не возникает никаких проблем.

Бригитта: Проблем нет, потому что я горжусь нашим отцом. Он имел мужество примкнуть к движению, которое обещало новое будущее. Я всегда его защищала, потому что понимала. В школе – от изолгавшихся учителей, которые вдруг все стали антифашистами. От так называемых друзей – похотливых, стремившихся попасть в постель к дочери известного нациста, и от других приятелей, мечтающих о возвращении прошлого и ищущих во мне союзницу. Я знаю, что тогда происходило. Ты не должен говорить со мной, как класный наставник. Но мне также известно, что когда мой отец в середине тридцатых годов примкнул к нацистам, он был твердо убежден, что поступает правильно.

Но ты не посторонний, хотя меня или его упрекаешь в том, что он делал.

Райнер: Прекрати, мне становится дурно, когда ты говоришь так общенно. Что значит “поступал правильно”? Что значит “он верил”? Он что, не мог после “хрустальной ночи” отойти от них? Не мог, по крайней мере, примкнуть к “движению 20-го июля”? Ты знаешь, кем был наш отец? Трусом! Преступным трусом. Назначенная на должность тряпка. Марионетка с правом на пенсию. Его врагами были не русские, не французы или англичане. Его врагами были немцы. Немцы в собственной стране. И поэтому он так ненавидел меня в последние годы. Я стал похож на тех немцев, которых – верил он – можно уничтожить с помощью партии. Он ненавидел меня потому, что я мог сказать “нет”. Он ненавидел меня потому, что во мне было меньше страха, чем в нем. Он всегда верил, что благодаря войне и партии появится новый немец или, по меньшей мере, *останется* только этот новый немец. Хотя сам был именно старым немцем. И этот тип старого немца, надеюсь, скоро исчезнет.

Бригитта: В тебе не меньше страхов, чем в нем. Только ты боишься другого. Ты совсем не знаешь, как ты похож на него. Этот фанатизм, с которым ты стремишься теперь к противоположному. В постоянном желании быть правым есть зачастую нечто нечеловеческое. Прислушайся же к тому, как ты говоришь о своих политических противниках! Мне часто кажется, что отец в свое время говорил так же. Вероятно, ты лишь случайно на другой стороне. Думаю, я совершенно на тебя не похожа. Я пытаюсь понять людей: почему они так действуют и почему такими стали. А ты хочешь жить в мире, где есть или союзники, или враги. Это так же нереально, как уже было однажды. Скажи мне, чем ты отличаешься от отца?

Райнер: Новому фашизму противостоит мой фанатизм, а не твое бессилие, не твое так называемое понимание. Да, я борюсь с немецким прош-

лым. Я мечтаю о том дне, когда умрет последний человек, “оставшийся” от третьего рейха. В конце концов, они все должны уйти. Вероятно, тогда у нас будет шанс создать новую Германию.

Бригитта: Все это – твои мечты. Ничего не изменится. Если бы ты сегодня был у власти, другие оказались бы на виселице. Твои лагеря будут так же полны, как у тех, других. Ты и твои друзья не сможете обмануть меня. Уже двести лет мужчины в нашей семье – офицеры. До тебя все они, по крайней мере, были настоящими мужчинами. Даже из заключения отец пришел с поднятой головой, исхудавший, но по-прежнему прямой и гордый. Ты не тот новый, хороший немец, которым всегда хотел быть. Твой “левый” энтузиазм – не что иное, как негативная реакция на отца. Как ты украсил свою комнату – просто смешно. В одном углу портрет Мао, в другом – Ленина, на письменном столе – бюст Маркса. Сначала звезда Давида на шее, потом – палестинский платок на плечах. Какой еще наряд ты придумаешь? Должна ли я говорить дальше? Каким забавным ты кажешься!

Райнер: Я всегда честно пытался стать другим, новым немцем. Сопrotивлялся тому, чтобы хоть в чем-то быть похожим на своего отца. Что в этом плохого? Он не помогал мне при этом. Он снова и снова говорил о нейтралитете армии. Для него это якобы не что иное, как долг и служба. Всегда он чувствовал себя обязанным любому правительству. А что такое долг неповиновения? Этого он не знал. Только один раз отец был честным в разговоре о том времени, когда был уже очень болен. Он рассказывал, что в офицерской среде часто обсуждалось, что сначала должна быть выиграна война, а потом – в мирное время – свергнут Гитлер. Отец говорил, что у офицеров было твердое намерение создать демократическую систему после войны. Но это после войны! Что за фатальная мешанина из наивности и безумия! Он действительно был убежден в том, что можно выиграть войну? В это и сегодня я не могу поверить.

Бригитта: Ты не имеешь понятия, о чем говоришь. Или ты все знаешь и сознательно говоришь неправду. Генеральный штаб не советовал Гитлеру вступать в Австрию, захватывать Рейнскую область и Чехословакию и даже стремился не допустить войны с Польшей. Еще в 1938 году Йодль говорил, что Гитлера поддерживает весь народ, но не Генеральный штаб.

Ты ведешь себя, как одичавшее животное. Топал на отца ногами, когда он был уже старым человеком. Что за геройство оскорблять больного старика?

Райнер: Не ври. Отец был последним звеном в цепи поколений послушных мазохистов, выполнявших приказы. Сперва прусские, потом фашистские офицеры функционировали, как по заданию. И я горжусь тем, что поломал эту традицию. В течение двух сотен лет в этой семье отец передавал сыну обязательность безусловного послушания. На мне, слава Богу, эта цепь прервалась. Первый немилитарист, вероятно, за по-

следние сто пятьдесят лет. Покончено с передвижением дивизий на чертежной доске: несколько тысяч мертвых здесь, несколько тысяч – у противника. Чем могла быть занята при этом его голова? В сущности, ты права. В конце жизни он был милым старым господином. Я не понимаю, каким образом он мог такое делать.

Бригитта: Скажи честно, ты действительно считаешь отца одним из тех, кто совершал массовые убийства? Или это все театр от начала до конца – сегодня и навеки? Ты всегда представлял его в одном ряду с надсмотрщиками из концлагерей и убийцами из СС? Твое негодование зачастую истерично до смешного и искусственно. Ты кричишь, неистовствуешь, бросаешь на пол стакан – что все это значит? Ты должен был бы видеть, как себя ведешь. И потом эти женщины, которые приходят к тебе. Это умора. Иногда это забавляет донельзя. Оборванки. И еще во рту эти сигареты с гашишем, когда выходят из твоей комнаты только в нижнем белье с обнаженной грудью. Мне всегда хочется тебя спросить: ты все это специально подстроил? Это было, так сказать, частью твоей стратегии, чтобы доказать отцу, насколько ты другой? Или ты хочешь всех нас запугать этими полуобнаженными девицами? Райнер в роли пугала для бюргеров. Но ведь это смешно до упаду! Почему ты не уехал? Почему ты не отказался от получения чека? Почему ты не отделился окончательно от семьи, чтобы действительно начать где-то заново? Тогда бы я еще могла тебе поверить. Но твой протест оплачивался отцом. Каждый цитатник Мао был куплен на деньги, заработанные отцом в банке. Даже табак для сигар, которые ты курил в знак протеста, брался у него. Ты не заработал ни пфеннига. По сути, мне тебя жалко.

Райнер: Я плачу, сестричка. Это хорошо, что ты меня жалеешь. Но это не поможет тебе, да и мне тоже. Я ненавижу именно его, несмотря на то, что он умер. С моей стороны было наивным пытаться бороться с ним. Но эта попытка по меньшей мере была. В противоположность тебе. Твоя жизнь – сплошное желание приспособиться. Отчаянный способ делать все, что отцу нравилось, что продлевало его жизнь. Посмотри на своего мужа. Плохая копия нашего отца. Тоже работает в банке и, возможно, также станет начальником, если всем важным персонам будет лизать задницу. Когда ты сидишь вместе с мужем и матерью, я вижу рядом с вами отца. Ничего не изменилось. Ты говоришь, как он, так же двигаешься и читаешь те же книги. Ты можешь гордиться своей жизнью. Это бессмысленное повторение другой бессмысленной жизни. Но, в сущности, ты права. Я проиграл свою борьбу. Все мои, как ты говоришь, комичные попытки стать другим были напрасны. Но знаешь ли ты, почему я потерпел крах? Потому что вы с матерью – и прежде всего я виню тебя, мать была его женой, в конце концов, – мне не помогли. Я неожиданно вынужден был бороться не против одного, а против троиц, будучи к тому же слишком слабым. Теперь я разочарован. Слишком слаб, чтобы начать заново;

живу у родителей, как ребенок, и боюсь, что меня прогонят. Моя жизненная борьба завершена, цели стали расплывчатыми и отдаленными. Я проиграл. Мое будущее? Оно меня не интересует, я ничего не желаю. Если я не сумел преодолеть прошлое своего отца, то для меня не существует никакого будущего. Потому что я не могу прожить такую же жизнь, как у него. Или ты думаешь, я тоже должен работать в банке?

Бригитта: Прекрати причитать. Снова это жеманство жертвы, ты не жертва своего отца, а жертва собственных претензий и целей. Мне все равно, будешь ты работать в банке или нет. Занимайся чем хочешь, только сделай одолжение – прекрати причитать. Нам обоим нелегко, я тоже это знаю. Мы из семьи, которая проиграла войну. В большей степени, чем многие другие, потому что имели отношение к ее истокам. Все мы проиграли, не только ты. И это не так просто, снова подняться из разорения, с такого дна. Мы были побеждены. Как боксер, потерпевший поражение, мы добрались до раздевалки и медленно пытаемся прийти в себя. Повсюду, вовне и внутри нас, следы борьбы. Некоторые быстро это преодолели, другие не смогут сделать этого никогда, а кто-то из них даже передаст это по наследству. Но то наша судьба. Нам, детям тех, из-за кого все произошло, уготована тяжелая участь. Но возможно, есть шанс, я не знаю. Я его не вижу. Чаще всего мне хотелось бы только покоя. Пусть нашим детям достанется лучшая доля.

Райнер: И ты разочарована. Так же, как и я. Это меня почти успокаивает. Я всегда думал, что ты намного сильнее меня. Это необычно, и я чувствую какую-то связь с тобой, большую, чем прежде. Теперь – неожиданно – мне все равно, что ты думаешь об отце.

Бригитта: Мне больно от того, что я должна тебя разочаровать, но ты мне так же чужд, как и всегда. Мне не хочется, чтобы нас объединяли общие страдания. Из данной ситуации я делаю иные выводы, чем ты. Я не унижаюсь и не ищу оправдания в том, что наряду с тысячами других я тоже – жертва моего отца. Я не хочу этого, ты понимаешь! Я отклоняю эту роль. Ненавижу ее, она мне неприятна. Не хочу быть жалкой тряпкой, и никто не отвечает за мою судьбу, кроме меня самой. И если верно, что моя жизнь с мужем – продолжение жизни наших родителей, то это мое собственное решение навсегда. Мое собственное желание, от которого я не откажусь вне зависимости от того, кем был отец и что он делал. Я не дочь убийцы! Я не дочь нациста!

Все это интервью – совершенно идиотская затея. Я не позволю загнать меня в какие-то рамки. Мне не нравятся ограниченные фантазии некоторых психологов, которым я представляюсь уродливым детищем одного из высокопоставленных нацистов. Я чувствую себя человеком, ответственным за свои решения. То, что я делаю – это мое желание или моя воля; даже если эта патетика смешна, мне все равно. Я не жила в третьем рейхе, не состояла в Гитлерюгенд, моих соседей не выволакивали из

квартир, потому что они евреи, мне не казалось забавным, что евреи должны были чистить тротуары зубными щетками. Я не участвовала во всем этом и никогда не закрывала глаза на происходящее. Ничего не делала, что могло бы навредить другим людям. Кто же я тогда? Человек или отпечаток ноги на песке? Я должна расстаться с тобой, потому что ты живешь целиком в прошлом. Хочу видеть тебя как можно реже, потому что твоя неприспособленность и беспомощность действуют мне на нервы. Я не могу тебе помочь. И не хочу. Когда кто-либо берет твою протянутую за помощью руку, ты пытаешься утянуть его за собой вниз. Ты притворяешься, что хочешь встать, однако боишься за свои слабые ноги. Я не хочу пасть рядом с тобой. Оставайся лежать в дерьме, но не пачкай меня.

Райнер: В течение одной секунды мне казалось, что мы могли бы помириться. Но ты права, это бессмысленно. То, как ты относишься к слабым, соответствует традициям нашего дома. Если ты в отчаянии, через тебя переступают. Выказываешь силу – тебя хвалят. Старая система: симпатизируют тому, кто преуспевает, а не тому, кто нуждается в расположении к нему. Ты живешь по такой же схеме. Гордый стойкий борец, даже из тюрьмы приходящий с поднятой головой. Он не был в состоянии плакать из-за несчастий, будучи одним из виновников в них. Ни извинения, ни признания вины, ни единого слова сожаления. Ты действительно можешь гордиться таким примером. Отец, который с той же уверенностью в себе руководит банком, как армией, – человек, которого везде можно использовать и с успехом. Только не там, где это было необходимо, где хоть в малейшей степени речь идет о чувствах и впечатлительности. Да, он играл со мной в мяч, читал мне и утешал меня, когда я расшибал колени, катаясь на велосипеде. Но позже? Когда я, озабоченный и полный внутренних сомнений, не понимал себя. Когда его военные преступления гнали меня, как ты правильно заметила, от одной группы людей к другой. Когда я пытался стать другим, чем был он, немцем. Где тогда был мой отец? У меня был единственный в своем роде шанс научиться у того, чья деятельность привела к катастрофе. Он мог бы объяснить мне, почему тогда подчинился, почему не оказал сопротивления и почему, по меньшей мере, вовремя не порвал со всем этим. Он молчал. Ни одного слова. И прежде всего именно поэтому я его ненавижу. Он упустил шанс передать свой опыт, выйти за пределы своей испорченной жизни. Было бы лучше, если б они его казнили, как и многих других.

Бригитта: С меня хватит. Я больше не могу. Давай прекратим этот разговор. Нет никакого смысла, ничего не изменилось в наших взаимоотношениях, напротив. От отца мы ожидали совершенно разной реакции. Я радовалась тому, что он не рассказывал мне историю своей жизни. Я знала, что тогда происходило, и знала также, какова была роль моего отца. Что он должен был мне еще рассказать? Отец, сидящий передо

мною и признающий свою вину? Ужасная мысль! От такого отца я могла бы отказаться. От отца, оплакивающего и жалеющего самого себя. От отца, который сокрушается по поводу того, что все делавшееся им, – неправильно. Ради Бога! И это ты называешь историческим шансом? Я рада, что наш отец не такой. Иначе я потеряла бы уважение к нему. Он сам через все прошел, и это, безусловно, было для него непросто. За четыре года тюрьмы после поражения у него было время подумать о том, что он сделал неверно. Нас, слава Богу, он оставил в покое. Благодаря чему не усложнил, а облегчил нашу жизнь. Я не вижу в этом ничего плохого. Естественно, он изменился. После войны он ни в коей мере не был приверженцем национал-социализма. Он не примыкал ни к одной из правых группировок и не ездил на встречи старых наци. Он стал подлинным демократом. И мне этого достаточно. Я не вижу необходимости ни в каком смехотворном признании вины. Отец был способен измениться. И это предполагает осознание ошибок.

Весь наш разговор был невероятно напряженным, и я хотела бы закончить его. То обстоятельство, что жизнь моего отца вызывает столь разное отношение, и есть, вероятно, настоящая трагедия. Катастрофа и крушение третьего рейха находят свое продолжение и в нашей семье. Как семья она перестала существовать. Все, что ты говоришь и как ты говоришь и думаешь, – для меня не просто иное, а чужое. Как будто бы ты никогда не был моим братом. Когда я вижу тебя и слышу, то не понимаю, как мы могли иметь одних и тех же родителей, вырасти вместе в одном доме и годами играть друг с другом. Я порываю с тобой, не желаю больше тебя видеть. Иногда мне кажется, будто мой младший брат давно уже умер. Сегодня передо мной сидит чужой человек. И часто, когда ты говоришь об отце, моя первая реакция – а что он может о нем знать? Следующая мысль: действительно, он – твой отец. Пожалуй, единственное, в чем я упрекаю своего отца, это в том, что из-за его истории у нашей семьи не могло быть нормальной жизни. Пока мы живы, его судьба не дает нам покоя, хотя он умер уже давно, и сколько бы времени не прошло с его смерти...

ПОЛНАЯ НАДЕЖД

Сюзанна (42 года)

Посмотри на меня, вот я здесь сижу. Вот мое лицо, глаза, рот, нос. Что ты видишь? Скажи мне, наконец, что ты видишь? Предположим, ты встречаешь меня в супермаркете. Мы стоим друг за другом в кассу. Я оборачиваюсь, ты смотришь мне в лицо. Ты ничего во мне не находишь. Ничего особенного. И когда сегодня мы говорим о том, что я дитя убийц, – это смешно! Как выглядит дитя убийц? Скажи мне только честно, какой ты меня представлял? Ты всегда имеешь представление о том, как выглядит, некто подобный мне?

Я была зачата в 1944 году. Вероятно, в то время, когда твоя бабушка была уничтожена в каком-нибудь концлагере. Или после этого, после работы, после окончания службы. Отец приходил домой и ложился с матерью в постель. Возможно, после ужина. Не понимаю, почему именно с тобой я говорю об этом. Но с кого-нибудь я должна начать. Ты, собственно, первый, кто хочет говорить об этом. Наверное, это будет лишь одно мучение. Раньше, когда я была маленькой, в школе у нас было несколько учителей, которые обсуждали эту тему. Один из них вернулся из эмиграции. В 1938 году вместе со своими родителями он покинул Германию и в 1945-м вернулся из Лондона с намерением, как он уверял нас всегда, помочь в строительстве новой Германии. Он старался самым реалистичным образом представить нам ужасы нацистского времени. Но это потрясло его, а не нас. Часто он весь дрожал, отворачивался и тайком утирал слезы. Нас же это волновало не больше, чем воскресная месса. Фотографии, фильмы, его заверения, предостережения. Все это воспринималось, как обычный урок. Звонил звонок, он входил, раскрывал свой портфель, устанавливал киноаппарат, включал его. Изображения сменялись перед нами. Учитель читал выдержки из книги, показывал нам фотографии. Мне было тогда четырнадцать лет. Урок заканчивался – звонок, мы ели принесенный из дома хлеб, на следующем уроке приходил учитель математики. Несколько минут спустя он говорил о прямых и кривых. Наш мозг пытался решать математические, а не исторические задачи. Все это было как-то бессмысленно.

Мой отец в 1948 году был приговорен к десяти годам. В пятидесятом его отпустили. Когда он исчез на два года, мне было всего три. Меня это никогда не удивляло. Мне исполнилось пять лет, когда он вернулся. Этот день я могу вспомнить очень точно. Он просто неожиданно пришел домой. Об этом в семье никогда не говорили. Отец еще жив. Ему почти девяносто. Большой, гордый человек, с еще густыми белыми волосами. На левой руке ампутирована кисть. Он носит протез с черной перчаткой, рука неподвижна. Пальцы немного согнуты. Он все время выдвигает их

вперед, как будто хочет подать руку. Удивительно, что когда я думаю об отце, всегда вспоминаю эту руку. Я ничего плохого с ним не связываю. Напротив. Он меня никогда не бил, не кричал на меня. Был спокоен и готов понять меня. Пожалуй, слишком спокоен.

“Я расскажу тебе все, что тебя интересует, только спрашивай меня”, – говорил он часто. И затем всегда следовало самое главное: “Ты должна передать это своим детям. Такое никогда не должно повториться”. Он возлагал на меня ответственность за будущее. Мои дети не должны были повторить его ошибки. Проблемой для меня было только то, в чем, собственно, они заключались? Все эти исторические представления, эти рассказы всегда были анонимными.

Штерн – учитель, который вернулся из Лондона – однажды пригласил моего отца в школу. Отец пошел. В это утро он очень нервничал. Результатом того посещения стали их регулярные встречи, инициатором которых был мой отец. Он хотел снова и снова видеть учителя и говорить с ним. Самым большим желанием отца было быть понятым кем-нибудь. Для меня это до сих пор загадка. Как он мог разговаривать подолгу и так обстоятельно именно со Штерном, который, в принципе, был одной из его жертв. Когда я подросла, отец часто повторял мне: “Эту войну мы хотели тогда, по меньшей мере, выиграть. Уже в сорок третьем мы знали, что войну против союзников проиграем. Но евреи должны были умереть”.

Он постоянно пытался мне это разъяснить. Совершенно спокойно, без крика. Хотел заручиться моей поддержкой. Он повторялся сотни раз. Все его рассказы были просты и логичны. Повествования о самых страшных зверствах звучали, как сообщения о путешествиях или других событиях. Чаще всего я сидела перед ним молча, слушала и ничего не говорила. Нередко ловила себя на том, что мысли мои где-то далеко. Или я смотрела мимо отца, в окно, фиксировала взгляд на какой-либо точке противоположной стены и думала о чем-то своем. Он говорил сонным, монотонным голосом. Смотрел на меня при этом, а у меня часто возникало чувство, будто я должна, вынуждена слушать его вечно.

Когда мне было шестнадцать лет, отец поехал со мной в Освенцим. Он знал этот лагерь, поскольку какое-то время работал там. Мы примкнули к группе людей, говорящих по-немецки. У нас был немецкий экскурсовод, бывший заключенный. Никогда я не забуду то, что мы увидели. В группе было много моих ровесников. Единственное отличие: они были детьми тех, кто подвергался преследованиям при нацизме.

Отец во время экскурсии не проронил ни единого слова. Позже в машине, на обратном пути в город, он начал мне растолковывать, что, по его мнению, неправильно объяснял экскурсовод. Отец говорил о селекции при прибытии заключенных и называл цифры: 60–70% прибывших всегда тотчас же направляли в газовые камеры. Остальных посылали на работы. Экскурсовод же сообщил, что только немногие были не сразу

уничтожены. При этом отец оставался совершенно спокоен. Закончил он свой рассказ вопросом: “Ты вообще можешь себе представить, как страшно все это тогда было?”. Когда я сегодня об этом вспоминаю, деловой подход отца представляется мне ужасающим. Эти сообщения, описания, тщательное нанизывание впечатлений. Никогда, например, я не видела в его глазах слезы. Ни разу он не прервал свои воспоминания, не остановился, всегда имел силы продолжать. Эти рассказы были монотонными, похожими на чтение.

Я выросла только с отцом. Матери я не знала. Она погибла во время бомбежки. Мне тогда было всего несколько месяцев. Потом у нас была няня: она вела домашнее хозяйство и заботилась обо мне. Отец относился к ней очень хорошо. Как я уже говорила, он был спокойный, приветливый человек. По его мнению, все объяснимо и имеет свою собственную логику. Если сразу разобраться, почему что-то произошло, исчезнет непонимание и самая мрачная фантазия.

Все, что тогда случилось, было для моего отца системой из причин и следствий.

Отец моего отца был офицером, поэтому и тот стал офицером. Родители его были убежденными нацистами, отец был таким же. Все семейство, из которого он происходил, было привержено нацизму с самого начала. Его отец, которого я, кстати, не знала, погиб во время войны (он был даже знаком с Гитлером). Мой отец рассказывал иногда, что также лично встречался с Гитлером между 1930 и 1933 годами. При этом отец добавлял: “Притягательной силе Гитлера нельзя было противостоять”.

Самое страшное из того, что произошло во время войны, было для него также следствием условий и обстоятельств. Но справедливости ради: отец не оправдывал случившееся. Он говорил об убийцах и предателях. Никого не стремился оправдать, а пытался объяснить, что многое, о чем сегодня пишут в прессе или в наших учебниках, не соответствует истине. Однако виновным, виноватым он себя никогда не чувствовал. Ни разу не сказал о том, что совершил ошибку или участвовал в преступлениях. Он был жертвой обстоятельств. И я всегда верила ему. Верила заверениям и воспринимала все, что произошло, как ужасный несчастный случай. Никогда не подозревала его в совинности. Все изменилось, когда появился мой сын, он разрушил мое представление о мире. Однако к этому я пришла позднее.

В 1962 году я завершила среднее образование и начала изучать психологию. Позднее я поменяла специальность и стала учительницей средней школы, где сразу познакомилась с Хорстом. В 1965 году мы поженились, в 1966-м у нас родился сын Дитер. Мой муж тоже педагог. Его специальность – немецкий язык и история.

Три или четыре года тому назад Дитер пришел домой и рассказал, что присоединился к группе, которая занимается изучением истории и судьбы

евреев в нашем городе. Великолепно, сказала я и была горда сыном. Хорст, преподававший историю, сказал, что хочет ему помочь советами, книгами или как-то иначе. Мы оба не подходили к этому вопросу предвзято. И даже немного гордились тем, что наш сын занимается таким важным делом. Дитер регулярно встречался со своими друзьями. То у родителей одного друга, то другого, часто и у нас дома. Они рылись в материалах городского архива, писали письма в еврейские общины и пытались найти в нашем городе тех, кто пережил нацизм.

Через несколько недель все внезапно изменилось. Я предчувствовала неприятность. Дитер редко бывал дома, каждую свободную минуту он проводил с друзьями. Я почувствовала, что чем дольше он будет заниматься этой проблемой, тем больше отдалится от нас. Он разговаривал с нами только о своей работе, больше ничего не рассказывал и становился все более замкнутым.

Однажды во время ужина мы с Хорстом попытались завести с ним разговор. Спросили его, как обстоят дела с работой в группе. Он отвел взгляд от тарелки, посмотрел на меня и произнес довольно агрессивным тоном: “Что, собственно говоря, делал дедушка во время войны?”

Я подумала: хорошо, что интересуется, и он имеет право знать, чем его дед тогда занимался. И я должна ему поведать то, что знаю. Отец находился в это время в Доме престарелых, расположенном в восьмидесяти километрах от нас. Мы посещали его один-два раза в месяц, но Дитера брали с собой редко. Так я рассказала Дитеру все, что знала о том времени, которое мне было известно только по рассказам отца. Я попыталась объяснить, представить, описать, прокомментировать – это был мир фантазии. Как мне теперь ясно, он не имел ничего общего с реальностью. Дитер некоторое время прислушивался, не глядя на меня. Потом внезапно вскочил, швырнул вилку и нож на стол, застучал по столу, посмотрел на меня большими испуганными глазами и закричал: “Ты лжешь, он – убийца! Ты лжешь, лжешь. Дедушка был и есть убийца”. Он снова и снова кричал, пока не встал Хорст и не дал ему оплеуху. Потом кричала я на них обоих. Это было ужасно. Дитер пошел в свою комнату, прикрыл дверь и до конца вечера не выходил к нам. Что-то сломалось в нем. Как часто я пыталась говорить с ним, объяснить ему, что тогда – в этом проклятом тогда – произошло. Я говорила, как со стеной. Он сидел передо мною, пристально смотрел на свои колени, сжимал пальцы и не отвечал. Все было бесцельно. Он ничего не хотел слышать ни от меня, ни от Хорста.

Через несколько недель сын пришел домой, вытащил из своего школьного портфеля стопку бумаг и положил ее передо мною на кухонный стол. Это были старые документы.

“Ты знаешь семью Коллег?”, – спросил он меня. “Нет, не слышала”, – ответила я. Он показал на бумаги, лежащие на столе: “Из этих бумаг сле-

дует, что они когда-то жили в этом доме”. “Ты думаешь, в нашем доме?” – спросила я и попыталась прочитать один из документов. “Да, там, где мы теперь живем”, – сказал он. Я не знала, что он имеет в виду. “Что ты хочешь этим сказать?” – спросила я. “Неважно”, – отвечал он вполне спокойно. “Коллеги были в 1941 году изгнаны из этого дома и умерли в 1944-м в Освенциме. Твои любимые отец и мать въехали сюда через день, через день после этого”. Потом он вырвал газету из моих рук и закричал: “Должен я прочитать тебе это вслух? Я должен прочитать тебе это вслух? Здесь, здесь это написано, и в этом доме жили Марта Коллег двух лет, Анна Коллег шести лет, Фреди Коллег двенадцати лет, Гарри Коллег сорока двух лет и Сюзанна Коллег тридцати восьми лет. Выселены 10 ноября 1941 года. Депортированы 12 ноября 1941 года. Официальная дата смерти детей и матери – 14 января 1944 года. Отец пропал без вести. Место смерти – Освенцим. Вид смерти... Ты хочешь еще знать подробности? Можно? И при всем этом ты будто бы ничего не знала? Твой отец тебе ничего не рассказывал?”. Я тогда ничего не ответила. Нервно начала заниматься чем-то в кухне. Не знала, что должна об этом сказать. Отец мне не говорил, что мы живем в конфискованном доме. Я всегда думала, что это старая семейная собственность. Но что, черт побери, я должна была действительно сказать моему сыну! Заключить с ним союз и обвинить собственного отца?

Я попыталась поговорить об этом с моим отцом, Хорст пообещал мне как-нибудь спокойно объясниться с Дитером. Но этот разговор не помог нам. Напротив, с того момента сын изменился и по отношению к мужу. Хорст был также не очень искусен в своих советах. Он – убежденный сторонник “зеленых” и считает себя “левым”. По его мнению, у нас теперь другие проблемы, например экология и атомная энергетика. Он пытался влиять на Дитера в этом направлении. Постоянно говорил о том, что сегодня фашизм – не тема для молодого немца, что прошлое – это прошлое и в конце концов должно быть забыто. Критика фашизма – дело философов, а не “молодняка периода полового созревания”. Молодые люди должны теперь протестовать против атомных электростанций, против загрязнения окружающей среды. Остальное исторически обусловлено и должно измениться в ходе развития общества, и тогда фашизм не сможет повториться и т. д. – вся эта теоретическая болтовня. Дитер сидел перед ним, качал головой, пытался с ним спорить, но Хорст этого не допускал. Когда Дитер умолкал, Хорст продолжал говорить. Я пыталась прервать обоих и спрашивала Дитера, что он об этом думает. Дитер смотрел на меня, на Хорста и повторял одну-единственную фразу: “Что делать, если мой собственный дедушка – убийца?”. После этого вставал и уходил в свою комнату.

Следующие недели были еще ужаснее. Каждый вечер – дискуссии, крики, слезы и обвинения. Дитер и я насакивали друг на друга, как люди

различных религий и различных правд. Хорст спасался сидением у телевизора и вообще больше не вмешивался. Он приходил с бессмысленными советами: мы должны прекратить эти разговоры и ко всему относиться не так серьезно. Но ничто не помогало; напротив, Дитер ко всему относился всерьез.

Постепенно во мне развилось чувство страха потерять собственного сына. Разрыва с отцом не произошло, несмотря на множество тех сведений, которые я получила о нем. Теперь я должна была опасаться, что может возникнуть трещина между мной и сыном. Я оказалась в ужасной ситуации – выбирать между сыном и отцом.

Я, естественно, хотела сначала попытаться выяснить отношения с сыном. После того как в течение двух недель мы вообще не разговаривали друг с другом, я попросила как-то Дитера еще раз выслушать меня. И попробовала объяснить ему, как дедушка передал мне свои переживания, рассказала ему о посещении Освенцима и других впечатлениях моей юности. У меня были серьезные намерения показать сыну, как повлияла на меня история моего отца и национал-социализма, как я реагировала на это и насколько это меня вообще занимало. Я старалась разъяснить ему различие между двумя поколениями. В его возрасте у нас еще не возникло идеи изучения в рабочих группах истории города в период нацизма. Как глупы и наивны, насколько незаинтересованны мы были тогда по сравнению с сегодняшней молодежью! Или, возможно, в то время эта тема была слишком болезненной.

Разговор этот был очень серьезным. Дитер спокойно слушал, задавал мне множество вопросов и не отклонял мои доводы. Но, думаю, самым главным для Дитера были мои заверения, что я не буду любой ценой защищать дедушку. Что дед не должен стоять между мною и им, что он, Дитер, не должен видеть во мне бывшую национал-социалистку, которая все еще находится во власти прошлых идеалов. Сын понял также, что не так просто осуждать собственного отца как убийцу, если его с такой стороны не знаешь и не видел, а он сам открыто ее не проявлял.

В сущности говоря, я просила сына о прощении и, кроме того, о большем понимании моей ситуации. Вне сомнения, я изменила свое мнение о том времени и делах отца.

Это стало, вероятно, решающим шагом к тому, чтобы Дитер и я снова нашли друг друга.

После того важного разговора произошло нечто удивительное для меня. Я солидаризировалась с сыном против собственного отца. И все больше и больше интересовалась работой сына в группе. Он показывал мне все, что собирал и изучал со своими друзьями. Их группа чаще приходила к нам, я сидела тихо в углу и прислушивалась. Для меня было захватывающе интересно сопереживать молодым людям в их сегодняшнем

понимании истории. Это поколение было просто непосредственной нас, у него было меньше страха и запретов.

Но еще долго не все было в порядке. Я регулярно по воскресеньям посещала отца, каждый раз собираясь поговорить с ним. Но никак не могла сделать этого. Он едва ходил, плохо слышал, в основном я возила его в коляске по парку Дома престарелых. Я была не готова к разговору об обстоятельствах, которые привели его в дом, в котором теперь живу я.

Я попыталась убедить Дитера в том, что он должен пойти со мной, чтобы поговорить с дедушкой. Он не хотел: "Он твой отец".

Я, правда, верила тогда, что и ему разговор с дедушкой был бы неприятен. Еще через несколько недель Дитер отправился со мной. Дедушка почти год не видел своего внука и очень обрадовался ему, расспрашивал о школе. Оба держали себя так, будто были хорошими друзьями. Я начала думать, что Дитер отказался от своих намерений. Но ошиблась. После первых незначительных фраз сын перешел к делу.

Он задал моему отцу те же вопросы, что и мне: знает ли он семью Коллег? Нет, отвечал отец, он не слышал о ней. Затем Дитер спросил, как дедушка оказался в доме, в котором мы теперь живем. Он его купил, отвечал отец. У кого, продолжал выяснять Дитер. У одного домоправителя, сказал отец. Знал ли он о том, кто жил в этом доме до него, задал вопрос Дитер. Нет, он не знал, сказал отец. Разговор шел обо всем понемногу, Дитер не переходил в наступление на отца. Он задавал ему несложные вопросы, отец отвечал так, как и всегда. Постепенно у меня зародилось подозрение, что отец, вероятно, в действительности не знает, как это было. Но Дитер в своей проникающей манере ставить вопросы не отступал. Дед потерял терпение. "Что ты пытаешься узнать?" – спросил он Дитера. И сын рассказал ему о рабочей группе, о материалах, касающихся нашего дома, которые они нашли, о доказательствах изгнания семьи Коллег, жившей в нем.

Но мой отец все отверг. Он ничего не знал, дом нормально купил и сегодня в первый раз слышит, что в нем до нас жили евреи. Дитер ему не поверил, но не стал спорить с дедушкой. Он шепнул мне, что нет никакого смысла говорить с ним об этом.

В тот день отец для меня умер. Человека, которого посещала в дальнейшем, я больше не знала, он меня больше не интересовал. Катая его по парку, я говорила о чем-то незначительном, никаких личных разговоров больше не вела. Отец после посещения его Дитером стал для меня лжецом. И я не хотела думать о том, что все, что он рассказывал мне в течение моей жизни, было ложью. Ничто не было достоверным, все излагалось не полностью или в искаженном виде.

Теперь я посещаю отца только один раз в месяц. Дитер с тех пор больше со мной не ходит. Я ему и не предлагаю. Ныне я на его стороне, и все мои надежды связаны с ним. Он свободен от влияния поколения мое-

го отца, и это хорошо. Он растет значительно свободнее, чем я, и далеко не так верит в авторитеты. Но самое главное переживание – это то, что благодаря сыну и вместе с ним я порвала со своим отцом. Этот старый человек в Доме престарелых мне совершенно чужд. Если бы в кресле, которое я вожу через сад, оказался кто-то другой, я не была бы поражена.

БЕСПОМОЩНЫЙ

Герхард (41 год)

Хорошо, что я могу здесь у вас говорить об этом. Моему отцу постоянно ставили в вину все возможное, и ничего из этого не было правдой. Теперь, наконец, я могу некоторые вещи оценивать правильно. С 1940 по 1945 год он был бургомистром в нашем городе. Моя мать была руководительницей в Союзе немецких девушек.

Отец родом из семьи торговцев. Его родители владели мясной лавкой, совсем маленькой, ничего особенного.

Это сближало родителей и детей. Родителей моего отца я знал, когда еще был маленьким. Моя мать тоже из нашего города. Своего отца она никогда не видела. Он погиб еще в первую мировую войну. До войны был рабочим. Бабушка, мать моей матери, шила на дому.

Отец родился в 1910 году, мать – в 1914-м. Я думаю, что уже несколько поколений обеих семей живут в нашем городе. Родителей сейчас нет в живых: отец умер в 1979-м, мать – в 1982 году.

Отец рано примкнул к нацистской партии. Когда, я не знаю, но он всегда говорил: “Я был при этом с самого начала”. На одном из партийных мероприятий он познакомился с моей будущей матерью. Видимо, тогда было хорошее время. Родители всегда с вдохновением рассказывали о нем.

Одновременно с работой в магазине отец много времени уделял партийным делам. О целях партии – как постоянно он сам говорил – был осведомлен целиком и полностью. Мать больше интересовала молодежь. Она любила детей.

Нас было четверо. В доме мать была наиболее значительной личностью. Отец часто ворчал и нередко колотил нас, но решающее слово было за матерью. У меня два брата и сестра. Старший брат родился в 1936 году, его зовут Стефан. В 1939-м появилась на свет Гудрун, в 1941-м – Антон. Я, самый младший, родился после войны, в 1946 году.

Стефан стал монтером и имеет теперь собственное дело. Гудрун – домашняя хозяйка, ее муж работает на почте. Антон – рабочий на автомобильном предприятии, он бригадир. Я держу мясную лавку, это мое собственное, не моего отца, дело. Свой магазин он продал и полностью занялся политикой. Я женат, жена помогает мне в лавке. Нашему сыну Густаву двенадцать лет, он школьник. Наши дела шли бы неплохо, если бы не было того времени, когда мой отец занимался политикой. Позднее его часто обижали. После войны – он уже давно не был бургомистром – на него постоянно нападали. Когда отец продал свое дело, он хотел и должен был искать работу, но это оказалось непросто. Слава Богу, его взял на службу владелец деревоотделочной фабрики, который всегда был

на его стороне. Оба знали друг друга раньше, и когда настали худшие времена, один помог другому. Мой отец поддерживал его, будучи бургомистром. После войны этот человек стал владельцем деревоотделочной фабрики – тогда он выручил моего отца. Много лет отец являлся директором фирмы. Стало легче: благодаря фирме многие вещи мы приобретали дешевле. После войны отец построил новый дом. Теперь я живу в нем. Отец мне помог, когда я начинал свое дело.

Мама после войны не ходила на службу, иначе при четырех детях было невозможно. Как и ее мать, она шила на дому. Однажды (уже давно) она пыталась устроиться на работу в городской детский сад. Но они ее не взяли. Кто-то на нее был зол. Почему, я не знаю. Что она сделала? В нацистское время кокетничала с молодыми людьми, путешествовала – в чем ее можно упрекнуть? Но некоторые мстили ей, вероятно, не без собственной выгоды.

Настоящих трудностей отец после войны не знал. Но быть бургомистром он больше не мог. Другие политические партии теперь не предлагали ему кандидатуру, так что у него больше не было возможности служить в магистрате. Его трудоустройство откладывалось со дня на день. Он часто говорил после войны, что те же самые люди, которые теперь лишали его всего, раньше сами предлагали ему все. Несколько человек были злы на него, и я до сих пор не знаю, почему. Раньше, когда я был еще мал, некоторые поносили и меня. Однажды один учитель сказал мне: “Твой отец – старый нацист, один из худших”. Но, слава Богу, это был только один из учителей, он меня ненавидел. Когда случалась какая-нибудь драка и я оказывался на месте происшествия, учитель хватал меня и кричал в лицо, что он ничего другого от меня не ждал. Отец говорил о нем как о старом социалисте, который не может ничего забыть. Учитель был настоящим врагом моего отца. Даже встречаясь на улице, они не смотрели друг на друга и не здоровались. Каждый глядел в сторону. Как будто мой отец был виноват в том, что учитель попал в тюрьму. Об этом заявил мне однажды Гайнц, сын учителя. Он на год моложе меня и в школе учился классом ниже, но не в той школе, где я, потому что в ней преподавал его отец. Семья учителя жила поблизости от нас. Однако моим другом Гайнц не был. Он был настроен против меня, как и его отец. Однажды он сказал мне, будто бы на совести моего отца смерть нескольких сотен человек. И, кроме того, еще другие страшные дела. Когда я гаркнул на него, чтобы он оставил меня в покое, Гайнц крикнул, что мне следует как-нибудь спросить моего отца, что случилось с евреями в нашем городе. Я задал потом этот вопрос отцу, и он мне рассказал, что они все уехали в Америку и там хорошо живут. Вероятно, им теперь лучше, чем нам здесь. Во всяком случае, они не знали, что такое бомбы и война вообще. Спустя несколько лет из Америки действительно приехала семья: двое старичков и двое молодых ребят моего возраста. Они заявили в

наш город в огромном черном “Мерседесе”, ходили по городу и были приняты бургомистром. Они не выглядели так, будто бы у них все отняли. Все отняли только у моего отца. Приехавших приветствовали, водили по городу как гостей. Во всяком случае, когда речь заходит о времени нацизма, отец всегда сразу приходит в ярость. Когда в телевизионных передачах рассказывают о многочисленных жертвах и преступлениях нацистов, отец кричит: “Они не должны всегда все валить на нас!”. Или: “Все ложь, все ложь!”. Или: “Они всегда делают нам только плохо, только плохо”.

Мы, дети, не понимали, почему он всегда так волнуется. Но знали, что о войне с ним лучше не говорить. И никогда этого не делали.

Мама внушала нам, что сначала было хорошее, потом ужасное время, и мы должны радоваться тому, что его не пережили. Моему брату Стефану было уже десять лет, когда началась война. Стефан и Гудрун часто рассказывали мне, что американские солдаты давали им шоколад и всегда были приветливы. Даже когда пришли арестовывать моего отца, детям они дали жевательную резинку и шоколадки. Отец вскоре вернулся домой. Они не могли его ни в чем обвинить, потому что он был только бургомистром.

Ну, что я еще могу сказать? Я не интересовался политикой. Не состоял ни в какой партии. Какую пользу я мог из этого извлечь, чем мне это могло помочь?! Я не огорчаюсь по этому поводу. Хожу голосовать, но – никаких функций, никаких постов, я забочусь больше о своем магазине. Это все, что меня интересует. Несмотря ни на что – и это смешно, потому что моего отца они постоянно поносили, – я, вероятно, имел бы некоторые шансы. Многие партии часто зазывали меня в свои ряды. Они даже предлагали мне определенное место в городском парламенте. Но мой отец этого не хотел. Он всегда говорил: “Если они не хотят одного, то они не должны заполучить и другого”. Они больше никогда не делали никаких предложений моему отцу. Поэтому и я не вступил в эти партии.

Но часто нам приходилось нелегко. Отцу ставилось в вину то, что он был бургомистром, кроме того, нам был нанесен немалый ущерб. Например, Раймар. Его дядя стал бургомистром позднее. Раймар также владел мясной лавкой, расположенной в пешеходной зоне. Все проходящие мимо делали у него покупки. Раймар во всем поступал практично. Вместе с колбасой и мясом он торговал другими продуктами питания, и поэтому получил разрешение поставить еще три стола. А что имею я по сравнению с Раймаром? До смешного маленькое дело – вне улицы. И только потому, что дядя Раймара был социалистом и стал бургомистром. Разве это справедливо? Государство, новое время, начавшееся с 1945 года, о котором всегда говорит учитель... А что изменилось? Моего отца также избирали, как потом другого. За него тогда голосовало большинство, как позже другое большинство – за другого. Я спрашиваю, как может быть

виновен тот, кто избран большинством? В результате – у Раймара магазин в пешеходной зоне, а у меня нет.

О жертвах войны я часто слышал в школе и по телевизору. Но пострадавшими были другие. Как это было у нас? Об этом никто не говорит. Брат моего отца не вернулся из русского плена. Оба брата моей матери погибли. Поддожины родственников моего отца жили во время войны в Мюнхене и погибли при бомбежке. Они испытали, что такое война. Я, слава Богу, нет. Но вся семья натерпелась. Однако нам после войны не дали ни гроша, всегда только другим. Неизвестно, кто их прикарманывал и куда они действительно подевались. Что случилось с нами, ясно: моего отца они лишили должности.

Все же мы участвовали и в новых начинаниях. Помогали при восстановлении города. Через десять лет мы снова стали уважаемой семьей. Имели красивый дом, отец опять сделался известным человеком в городе – правда, он не являлся больше бургомистром, но был директором деревоотделочной фабрики. Никто тогда не говорил о нем ничего плохого. Естественно, кроме старого учителя. Наш отец всегда повторял: мы – порядочная семья. Он гордился детьми и тем, чего они добились. Только бургомистром он не мог больше быть. Что прискорбно – я получил бы тогда место в пешеходной зоне.

СИСТЕМАТИЗАТОР

Сибилла (39 лет)

Я где-то однажды прочитала, что человек ежедневно нуждается в трех объятиях для того, чтобы выжить, в шести, чтобы сохранить существующее положение, в двенадцати, чтобы он мог расти. Я думаю, мое поколение и поколение моих родителей получили так много, что смогли все пережить. В последние сто лет эта способность плавно переходила от одного поколения к другому.

Методы воспитания моих дедушек и бабушек восприняты моими родителями, и кто знает, какими будут у меня отношения с моими детьми.

Мой отец однажды рассказывал, что он никогда дома не получал того, что хотел. Это началось со смешных вещей. Он всегда охотно пил во время еды малиновый сок. Но дома ему никогда его не давали – таким был принцип воспитания.

Я и трое моих братьев воспитывались в строгой фашистской манере. Побой были повседневностью. Порвешь одежду – побой. Плохие отметки – побой. Дерзок с родителями – побой. Возможным было и такое: суммировались мелкие и незначительные проступки – также побой. И всегда один и тот же ритуал: сам должен подать палку, лечь поперек стула, и тогда начиналось. Любая попытка избежать наказания была бессмысленна. Об этом не могло быть и речи.

Попробуешь оправдаться или переубедить мать, ничего не получится, будет еще хуже. Мать била меня, отец – братьев. Единственная возможность избежать этого – не быть уличенной. Такой способ был избран для того, чтобы не подвергнуться избиению. Отец часто говорил: не попадайся.

Потасовки были и между моими старшими братьями. Мне же доставалось и от братьев, и от родителей.

Могу тебе объяснить, почему я называю это фашистским воспитанием. Из нас регулярно выбивалось самоуважение. Любое проявление уверенности в себе выколачивалось. Хребет был сломлен. Чувство собственного достоинства, как и радость жизни, в кругу нашей семьи были уничтожены. Я помню, как меня, ребенка, всегда раздражала сказка о “Маленьком Гансе”. Почему этот глупый ребенок всегда хотел вернуться домой? Только потому, что мать плакала? Я всегда думала, какой радостью будет уйти наконец-то из дома.

У меня всегда было желание уйти. Лучше всего туда, где меня никто не знает, где никому неизвестно, как я плоха. А плохой я должна быть, иначе мои родители не били бы меня постоянно. Недавно я говорила с моей уже постаревшей матерью о тех систематических побоях. Она, к сожалению, не изменилась. Сознания своей неправоты у нее нет и сегодня. Ее единственный комментарий: “Если бы ты тогда была послушной,

тебя бы никто не бил”. К этому она прибавляла: “Ты охотно это получа-ла”. Никогда я не понимала этих слов. Но мое движение к освобождению от родителей длилось десятилетиями. Лишь года два, как я чувствую себя свободной и способной жить самостоятельно. Раньше все было по-другому.

Ребенком, например, я воспринимала историю Авраама, который должен был принести в жертву своего сына, совсем иначе, чем другие дети. Я всегда думала, что родители имеют право убивать своих детей. Мой отец также был нелюбимым ребенком в семье. Его брат – он был на два года старше – был любимцем отца, но умер в десятилетнем возрасте. Дедушка, скончавшийся очень рано, работал в сталелитейной промышленности и выпивал, говорят, ежедневно три бутылки вина. Мой отец тогда занимался коммерцией в той же области. Во время войны он работал в Верхней Силезии и от воинской обязанности был освобожден.

Мать родилась под Магдебургом. Ее отец был рабочим, позднее имел собственную маслобойню. Брат моей матери погиб в последние дни войны.

Ни у отца, ни у матери в обоих поколениях не было гармоничной семейной жизни. Всегда только крик и брань. Я выросла без дедушек и бабушек. Моя мать родилась в 1919 году и очень рано – в двадцать или двадцать один год – познакомилась с моим будущим отцом. Он тогда уже являлся управляющим на военном заводе. Был очень красив, высок – метр и 84 сантиметра, – строен, русоволос. Они вскоре поженились, и в 1942-м, 43-м и 44-м годах у них родились трое моих братьев. Я, единственный послевоенный ребенок, появилась на свет в 1946 году.

Мой отец с самого начала служил в СС. Совсем молодым, еще студентом, он был охранником во время собраний нацистов. Он рассказывал, что охранял Гитлера в отеле “Дрезен” в Бад-Годесберге. И всегда оправдывал это тем, что хотел быть полезным. Но для меня никогда не являлось естественным то, что он делал во время войны. Я думаю, что отец, действительно, ничего плохого не совершил. Во всяком случае он не служил ни в концлагере, ни в команде уничтожения. Но потом, после войны, – все тот же образ мыслей. И постоянные разговоры. Это было самое ужасное. Он так до конца ни от чего не отказался. За исключением, пожалуй, последнего полугодия, когда был очень болен.

Лишь несколько дней тому назад, думая о нашем предстоящем разговоре, я поняла, *когда* впервые услышала о преступлениях во время нацизма. Думаю, мне было двенадцать или тринадцать лет. У нас был пастор, который много говорил на эту тему во время подготовки к конфирмации. В школе тогда об этом я не слышала ни одного слова. Помню, когда мне было тринадцать лет, на каникулах я находилась в Швейцарии в пансионате для девочек, где изучала французский язык. Там было много еврейских девочек из Америки. Я была поражена тем, как дружелюбно все ко

мне относились. Я ожидала, что они будут меня сторониться. Во всяком случае к этому времени я уже знала обо всем, что происходило. Но более точные сведения впервые получила в семнадцать лет. Я была тогда у родственников в ГДР, и однажды мы поехали в бывший концлагерь Заксенхаузен. Экскурсовод все время разъясняла нам, посетителям из Западной Германии, что виноваты во всем мы, что мы – злодеи, а они ничего плохого не делали, что они – хорошие немцы.

Нам показывали подвалы, мы посмотрели и американские фильмы, снятые во время освобождения лагеря. После этого я сидела одна на лужайке перед входом и удивлялась, почему еще светит солнце.

Дома я рассказала матери о том, что видела. Ее единственный комментарий: “Что ты еще придумываешь?”. И тогда начались разговоры с моими родителями. Воспоминания возвращают меня в то время. Чем больше я говорила на эту тему в школе или дома, тем агрессивнее была реакция моего отца. Например: “Эта проклятая школа, эти осквернители родного гнезда! Тогда не было совсем так плохо. И относительно шести миллионов евреев – это тоже преувеличение”.

У моих родителей была книга Йогена Когона “Государство СС”. Они нашли в ней место, где упоминался один врач из концентрационного лагеря. Оказалось, что родители были знакомы с этим врачом; именно в тот день, который указан в книге, он был дома у моей матери: в тот день родился один из моих братьев. Из данного факта родители делали вывод, что лжет не только Когон, все остальные тоже лгут.

Они всегда преуменьшали серьезность происходящего. Для них все было несчастным случаем. Об осознании вины речи не шло. Доходило до цинизма: мне дали имя, которое начиналось с буквы “С”. Сокращенно оно звучало “СС”. Маленькая шутка моего отца, холодная, как лед, и бесчувственная. Он возложил на меня свое бремя. Но у меня не возникало желания смеяться по этому поводу. В связи с чем говорилось, что у ребенка нет чувства юмора.

Чем старше я становилась, тем резче были столкновения. Снова и снова все вращалось вокруг вопроса: как много они знали и почему не выступали против этого?

Иногда, довольно редко, по маленьким намекам становилось ясно, что они знали все. Один раз отец рассказывал, как он стоял на вокзале в Эйслебене. Там, в вагоне для скота, находились люди, они кричали: “Выпустите нас отсюда! Они везут нас в Терезиенштадт”. Он уже знал, что им не поздоровится. Но когда я спросила, что он тогда сделал, он покраснел, начал бушевать и кричать: “Что я должен был делать? С тремя маленькими детьми! Тебе легко говорить!”.

С того момента я прекратила разговоры. Подумала, что это не имеет никакого смысла. Каждая дискуссия о третьем рейхе всегда проходила параллельно с разговорами о других предубеждениях, которые в конце

концов не были связаны с войной. Евреи для отца были недочеловеками, как и негры; индийцев он терпеть не мог, иногда греков и испанцев. Все это он высказывал вслух, независимо от того, где мы в это время находились – в пивной или среди чужих. На всех, кто был не таким, как он, смотрел свысока. Всегда критиковал тех, кто боялся об этом сказать, и исходил из того, что все думают так, как он.

Отец презирал всех. В 1967 году мы с ним отправились в круиз по Средиземному морю. Это был последний отпуск, который я провела с отцом. Последняя попытка хорошо провести время вместе. Из четырехсот пассажиров двести были глухонемыми. Поскольку я тогда была глупа, постоянно пыталась дискутировать с ним. Его окончательный комментарий по этому поводу был таков: “Двести глухонемых мне ближе, чем две сотни негров”. Как всегда цинизм, несерьезная манера отвечать на мои аргументы. Все было неоднозначно, нелогично, никогда он не относился ко мне действительно серьезно. Зашло так далеко, что он ужасно разволновался после того, как я на корабле танцевала с одним немолодым евреем и в шутку сказала, что могла бы выйти за него замуж. Двумя днями позже, когда мы остановились в Израиле, он восторгался стоящими в порту молодыми мужчинами и женщинами в военной форме.

Но спустя год, в 1968-м, дело дошло до полного разрыва. За одну ночь я стала “красной”. В Бонне я влюбилась в члена КПГ. Он дал мне почитать книгу Эрнста Фишера. В первый раз я кое-что уяснила для себя и тотчас же принялась за агитацию. Естественно, дома это вызвало большой шум. Через несколько недель отец прислал мне письмо. До этого я колебалась, проводить ли с родителями рождественские праздники. Отец чуть не лопнул от ярости. В письме он писал, что не понимает, откуда этот удивительный эгоизм, какое мне дело до негров и вьетнамцев, если весь этот сброд исчезнет с лица земли, не оставив и следа. Мол, я еще не понимаю, что такое настоящий мужчина.

Моя мать тоже подписала письмо. Она сочла его исключительным. Надо себе представить, что все это случилось спустя двадцать пять лет после окончания войны! Те же разговоры, тот же образ мыслей. После письма все кончилось. Я осталась одна, оторванная от семьи. Против меня выступили и братья. Для них история отца никогда не являлась проблемой. Особенно то, что касается периода войны: трудно упрекнуть отца в чем-то конкретном. Ко всем этим свинствам он будто бы случайно не был причастен. И денацификация прошла без проблем. За несколько месяцев до окончания войны, когда он еще мог быть призванным на военную службу, он прислал старшему сыну письмо, так сказать завещание. Письмо на обычном для того времени языке – о крови и земле. Когда я думаю об этом письме, мне невыносимо, что его автор – мой родственник.

Отец оставался фашистом до конца своей жизни. При этом неважно, что он делал все время войны. Как он избивал, например, братьев – это трудно себе представить. Однажды один из них должен был выучить наизусть стихотворение. Каждый раз, когда он запинаясь, отец бил его. Эти крики я слышу еще сегодня. Мать тогда брала меня за руку и уводила. “Отец забьет Эриха до смерти. Лучше мы уйдем”, – говорила она мне. Ужаснее всего было, когда мы жили одни в доме. Не было никаких соседей, других людей, и отец не боялся, что кто-нибудь может услышать, он не мог уже сдерживаться. Сегодня я бы не хотела жить в доме для одной семьи. Тогда мне было около двадцати лет, и я попыталась самостоятельно встать на ноги. Но многое во мне меня пугало. Прежде всего неспособность к состраданию. Думаю, больше всего я боялась того, что могу продолжить историю родителей, дедушек и бабушек и т.д. Однажды я видела на улице женщину, бьющую своего ребенка. Я не вмешалась. Стояла рядом и ничего не предпринимала. Подлинной причиной было то, что я не могла сострадать ребенку. Он стоял рядом и не защищался. Поэтому и я не могла что-нибудь предпринять.

Так же было и позднее, в женском движении. Когда я вижу, как бьют женщин, моя первая мысль: так им и надо, почему они не защищаются? Если бы они могли постоять за себя, их бы так не били. Я могу сочувствовать лишь тому, кто защищается. Мои братья и я тоже не защищались, когда нас колотили. Мы все сносили. Любое мысленное унижение.

Постепенно, однако, все изменилось. Спустя много лет мне приснился сон о ребенке, которого били другие дети. Моя первая мысль во сне – они играют. Но затем ребенка привязали к столбу вниз головой. Я находила это достаточно жестоким, но подумала – не вмешивайся. В третьей “сцене” ребенка били палкой по пяткам. Тогда я подумала, находясь все еще во власти сна, что это методы пыток. Я подошла к ребенку и вмешалась. Для меня тот сон стал переломным.

В 1973 году мой отец умер. У него обнаружили рак вскоре после того, как он вышел на пенсию. С того момента он прожил шесть месяцев. Только в последние его дни я снова относилась к нему лучше. Мы заключили перемирие. В конце жизни он стал даже мягок, кроток и чуток. Я тогда очень о нем заботилась. Моя мать вела себя ужасно и за все ему отомстила. Она не разрешила, чтобы в дом приходила сиделка для ухода за отцом. У него был рак кишечника, и это его по-настоящему мучило. Клистир можно было поставить, только когда он был особенно покорным. Под конец, когда ему стало совсем плохо, врач настоял, чтобы была нанята сиделка. Я находила ужасным, как мать могла мучить смертельно больного человека. В это время я снова переехала домой. Это было страшное время. Часто по ночам я не могла спать.

Вскоре после смерти отца я подружилась с человеком, который был на двадцать лет старше меня. Теперь знаю, что он был очень похож на моего отца. Также авторитарен и догматичен.

Теперь все по-другому, несмотря на множество проблем в течение ряда лет. Я живу вместе с одной подругой и впервые чувствую себя счастливой. Отказалась от планов отъезда. Три года тому назад я еще хотела переехать в Южную Америку и купить там целую долину. Теперь все уже позади. Я начинаю чувствовать себя хорошо здесь, в Германии. И понимаю, что это мой дом. Несмотря на то, что здесь было. Я вижу и ужасное, и хорошее. Точно знаю, что немного могу изменить, что здесь почти ничего не изменилось и, возможно, все может повториться. Замечательные педагогические движения последних двадцати лет не очень-то изменили людей. С одними книжными знаниями не добьешься ничего. Об этом я сужу по людям, которые меня окружают. Один из моих братьев в течение длительного времени был безработным, из-за своего неустройства он поносил все, что было в поле его зрения: иностранцев, профсоюзы, рабочих. Получив работу, он стал доброжелательней к окружающим. В его примере я вижу, сколько еще в нас сидит от прошлого. Малейшие трудности – и тотчас же злость, направленная других. Всегда ответственность за собственную неспособность вваливаем на кого-то. К сожалению, иногда замечая это и в себе.

Изредка я представляю, что у меня в возрасте моей матери есть дети. Им бы доставалось! Я теперь довольна тем, что у меня их нет и, наверно, не будет. Не хотелось бы быть такой, как моя мать. Я знаю, что это звучит абсурдно, но для меня очень важна дистанция между мной и ею.

Она и ныне такая же, как тридцать или пятьдесят лет тому назад. Нисколько не изменилась. Когда я однажды делилась с ней впечатлениями о книге Виктора Франкля об Освенциме, она сказала: "Он, наверно, сам был из персонала". Она еще и сегодня не в состоянии представить, что известный врач мог быть узником концлагеря. Те, кто сидел в лагере, были нелюдьми. Так она думала тогда, так думает и сегодня. Она осталась такой же ограниченной. Отец и мать всегда были – мне больно, что я должна это говорить, – ограниченными, ничем не интересующимися и глупыми людьми. Самым дьявольским в них было их согласие с тем, что ими манипулировали. Больше всего к ним подходит определение "непостижимая холодность". Жаль, но я не могу больше сдерживать свои чувства по отношению к ним. Сегодня не могу. Годами я пыталась себя уговорить, что им было тяжело, что они также многое испытали. Сегодня я ничего не понимаю. Отец и мать могли бы иначе решать все проблемы. Во всяком случае после войны. Их выбор был сознательным. Одно время я пыталась представить себе, *что* бы я тогда делала и думала, что, вероятно, вела бы себя подобным же образом. Но сейчас с этим покончено. Я

не могу снять с моих родителей тяжесть решения, принятого ими. Вечной загадкой для меня будет, почему они завели четверых детей.

Примирение с родителями было возможно. Но они упустили свой шанс. Если бы моя мать сказала только один раз: “Дочка, я все обдумала, то, что произошло, – в сущности самое худшее из того, что могло произойти. Я закрою глаза, с чувством вины буду лежать в гробу. Но надеюсь, что ты будешь другой, извлечешь уроки из моей жизни”. С такой матерью я бы примирилась. Даже если она была надзирательницей в концлагере.

ВЕРЯЩАЯ

Моника (40 лет)

Говорить о том, что мой отец служил в карательных частях нацистов (СС), я решилась не так давно, вероятно лет десять тому назад. До этого я не осмеливалась на такое. Всегда думала, что если кто-нибудь об этом узнает – я останусь в одиночестве, никто не захочет иметь со мной дела. И всегда видела своего отца в роли жертвы. Одинок, без друзей, никто больше не хочет его знать; думала, что вечно должна жить, как он. Никогда и никому я этого не рассказывала.

Даже сейчас, когда заходит речь о прошлом отца, у меня начинаются судороги. Он служил в войсках СС; лучше бы он служил, по крайней мере, в штурмовых отрядах – они были не так ужасны... Надо же ему было связаться с СС! Я никогда не хотела знать, кем он был в действительности. Умом это понимаешь. Но чувство часто отказывает. Все это очень противоречиво. Моя сестра старше меня. Я родилась в 1947 году. Только год назад сестра мне сказала, что она – дочь палача. Все во мне воспротивилось. Я подумала, нет, я не такая, такой я не хочу быть. Но моя сестра ненавидит отца. Мысли о прошлом стали ее занимать очень рано.

Она всегда говорила, повторяет и теперь, что должна жить с тем, что она – дочь палача. Но для меня это не просто – только добро или зло. Я всегда пытаюсь увидеть в человеке и то, и другое. И эти отчаяние и фантазия – видеть во зле добро, а в добре зло – занимают меня, думаю, всю мою жизнь. После окончания средней школы я изучала психологию. Затем стала работать в тюрьме. В то время речь там шла о возможности альтернативного наказания. Особенно интересно мне было работать с теми, кто совершил так называемые тяжкие преступления. У меня хорошо складывалось общение с ними, и я не боялась их. Часто случались чуть ли не забавные ситуации. Здоровенные парни, которые, возможно, даже убивали людей, ломали оборудование, бушевали в своих камерах, куда никто не решался войти. Нередко я была единственным человеком, кто осмеливался входить к ним и говорить с ними. Я всегда исходила из того, что в самом худшем из них есть доброе начало или, по меньшей мере, положительная сторона. И считала, что всегда смогу найти эти лучшие качества.

Тогда я даже гордилась тем, что способна обнаружить в человеке эту другую сторону. Слабость, добро, зерно кротости в жестоких людях, доброе в злом – это было для меня самым важным и интересным. То же я постоянно искала в своем отце. Я не признавалась себе в том, что мой родной отец лишь соучастник тех преступлений и что иного в нем нет. Своей работой мне хотелось ему показать, что люди в тюрьме могут быть не только такими, но и другими. Я стремилась доказать ему, а может

быть, и себе самой, что и в худших людях можно увидеть то, что есть в отце, вопреки его ужасному прошлому. Однако все это было напрасно. На все, в чем я хотела убедить его, он реагировал полным отрицанием. Для него заключенные были только убийцами, ворами, типами, не желающими работать – ужасные клише. Отец был как ненормальный, я пыталась склонить его к осмыслению человека, совершившего преступление. Все было бесполезно. У него не было никакого понимания мотивов преступления другого. Он не хотел видеть в этих приговоренных ничего хорошего. Их мир представлялся ему абсолютно в извращенном виде; самого себя он, естественно, преступником не считал. Я постоянно пыталась доказать ему, что преступник не должен быть преступником. Но я была тогда совершенно не права, потому что он себя таковым и не признавал. О том, что он делал в прошлом, никто не заговаривал. Долгие годы я вообще ничего не знала. В отличие от моей старшей сестры: ей все стало известно гораздо раньше. Разговоров на эту тему мы избегали. Об определенных вещах не говорили. И я о них никогда ничего не спрашивала. Держалась в стороне. Была такой тихоней.

До 1960 года. Мне исполнилось тринадцать лет, когда родители сообщили, что отец служил в СС. Он чувствовал себя никому ненужным, после войны прятался и выдавал себя за брата моей матери. Какая-то совершенно безумная история: даже моей старшей сестре говорили, что это не отец, а дядя Франц. В течение ряда лет в семье собственному ребенку врал, что отца нет, хотя, возможно, он еще вернется с войны, и что у нее есть только мать и дядя. Естественно, сестра годами ждала отца. И постоянно при любой ссоре моя маленькая сестричка утверждала, что все изменится, когда отец возвратится.

Отцовский страх мне и теперь едва понятен. С одной стороны, я действительно не знаю, чем он занимался во время войны, а с другой – не могу принять его заверения, что он ничего плохого не совершил, когда думаю о том, почему же он после войны годами прятался. Чем он был так напуган, коль выдавал себя за дядю собственного ребенка.

Я и сегодня помню, как сестра сказала мне: “Ты знаешь, кто наш отец? Дядя Франц”. Я была тогда слишком мала, чтобы все это понять. Когда мне стало известно об эзэсовском прошлом отца, я была его любимицей. И сама его тоже любила. Я просто не могла поверить в то, что мне о нем рассказали. Все это должно было быть просто неправдой. Они пытались тогда объяснить мне это так: СС было в то время элитарным формированием Гитлера, всегда ему преданным и сражавшимся за него. Поэтому говорить об этом – опасно. Все пряталось: униформа – в подвале, фотографии – в белье. Постоянно опасались, что отца могут схватить. И до сегодняшнего дня я не знаю, чего или почему он боится.

Отрицание своей вины и постоянное утаивание, правило не выходить из дому и не разговаривать с посторонними – все это переносилось также

и на меня. Я вспоминаю один случай, когда мы с подружкой по дороге домой из школы встретили папу: он ехал на велосипеде. Он сказал мне несколько слов, проезжая мимо нас. На вопрос девочки, кто этот человек, я ответила, что совсем его не знаю. Я всегда была в смятении. Отец прятался, я скрывала его; он не имел друзей, часами где-то ездил на велосипеде. Прошло много лет, прежде чем во мне постепенно стало расти чувство ярости против отца. И сегодня я знаю, что он всегда оставался нацистом. Я больше уже не вижу в нем две стороны, только одну. Чем старше я становлюсь, тем понятнее мне его агрессивность и жестокость.

Снова возникают его слова, забытые или вытесненные из памяти. Он обзывал меня калекой, если я не могла что-нибудь сделать. Он швырял мне в лицо обвинения, что я, де, уклоняюсь от работы, при Гитлере я оказалась бы в трудовом лагере. Крики, постоянное рычание и буйство. Ни одной спокойной фразы, ни одного взвешенного ответа. Я никогда не слышала от него ничего о ком-нибудь положительного. Не могу себе представить, чтобы из его уст прозвучало что-либо похвальное или хорошее.

Не так давно, когда он снова разразился тирадами об инвалидах и малоценных жизнях, я назвала его человеком, презирающим людей. Впервые он остался спокойным, удивился, побледнел и больше не сказал мне ни одного слова. С тех пор я с трудом разговаривала с ним. Тогда я ему сказала, что впредь не желаю выслушивать от него всякую бессмыслицу. Это его задело. В первый раз. Но сейчас мне уже сорок лет.

Самое важное и самое тяжелое для меня то, что, в сущности, я и в самом деле не знаю, что он делал во время войны. Если раньше я пыталась заговорить с ним об этом, он уходил от ответа. И если при этом присутствовала моя мать, она постоянно останавливала меня словами: “Зачем ты всегда вынуждаешь отца говорить на эту тему!”

Он выдавал себя, только когда приходил в ярость. Обычно перед телевизором. Вечернее обозрение, фильм о третьем рейхе, кто-то говорит о нацистском периоде – и начинается. Он орет: “Все одна ложь!”. Любые сообщения или разоблачение какого-то преступления – все было только “ложью”. Однажды в приступе ярости он впервые рассказал, что жил в поселке караульного персонала рядом с Бухенвальдом. Из его слов следовало, что там работали сытые и прилично одетые люди из лагеря. Это было для него, так сказать, доказательством того, что все утверждения о концентрационных лагерях – ложь.

И, естественно, он снова и снова говорил о евреях. Это была его любимая тема. Он объяснял мне ее обстоятельно: “Ты должна себе представить, что у них было тогда все – большие магазины, деньги, а другие не имели ничего, кроме нищеты”. И теперь, по его мнению, все точно так же, как тогда. В Америке заправляют евреи, моя учительница принадлежит к “красному сброду”, кругом подстрекатели. Он отрицал все. Убийств не было. Лагерь уничтожения не существовало, личная вина – вовсе миф.

Завершением бессмысленного крика вечно была фраза: “Все это ты поймешь позднее и тогда будешь благодарить меня за то, что я всегда говорил тебе правду”.

Несмотря на подобные переживания мне было не так уж легко отделить во всем этом хорошее от плохого. Я боролась с отцом и с самой собой. Некоторые разговоры я записывала на магнитофон и потом прослушивала их вместе с подругой. Они протекали по одному и тому же образцу. Всегда одни и те же избитые слова, постоянная агрессивность. Я пыталась приводить ему какие-то аргументы – нормально и спокойно. Годами старалась это делать, никогда от этого не отказываясь. Только теперь вижу, сколь бессмысленны были мои попытки. Одно время у меня был друг, который тоже был изрядно агрессивен и постоянно кричал на меня. Когда он повышал голос, я вообще ничего не соображала, в голове было пусто. В точности как и с моим отцом. Я всегда старалась иметь дело с неагрессивными мужчинами.

Чем старше я становилась, тем больше отдалялась от семьи. Как-то поняла, что невозможно изменить или переубедить таких людей, как мой отец. Поэтому единственным выходом было уйти из дома. Я больше не приводила домой друзей, сразу же после получения аттестата о среднем образовании уехала от родителей и посещала их все реже. Они реагировали на это более чем патетически. Их любимым выражением стало: “Кровь гуще воды”. Другими словами, это означает, что спаянность в семье должна быть сильнее любой дружбы вне ее. Родители при этом забывали, что вынужденная близость к ним скорее гнала меня из дома, а не удерживала в нем. Им казалось, например, неслыханным, что их не пригласили на день рождения к моей сестре, где были только друзья. Для них так называемая семья должна быть важнее, чем любая иная привязанность. Вряд ли можно поверить, что годами я ломала голову, размышляя обо всем этом. Но я не сдалась и ушла.

Все, что они мне говорили, я воспринимала очень серьезно. И долгое время этому верила. Но навязываемые теплота, близость, разговоры о сплоченности семьи были в конце концов лишь суммой предписаний и норм. В действительности ничего подобного не существовало.

Мать всегда твердила, что надо быть хорошим человеком и что в хорошем человеке нет ничего злого – вот так все просто. В ее глазах отец обладал одними лишь отрицательными качествами и не имел никаких достоинств. Несмотря на постоянные взаимные оскорбления, они до сегодняшнего дня живут вместе. В своем тесном миреке ведут себя, как единая семья, хотя ничего, кроме презрения друг к другу, у них не осталось.

Меня они желали воспитать хорошей девочкой. Благородной и доброй, всегда готовой помочь. Никакой злобы, никакого раздражения, никакой разгневанности и отсутствие сопротивления всему, что исходит от родителей.

Но не всегда было так. Маленьким ребенком я была фурией, позже стала доброй феей. Сначала я была вспыльчивой, неистовой, постоянно топала ногами, находилась в полной боевой готовности. Потом, году в шестидесятом, в то время, когда я узнала о прошлом своего отца, все изменилось. Четырнадцатилетней девочкой я стала совершенно спокойной, милой и послушной. Всегда только смеялась, изображала из себя добрую фею. Это были те роли, которые я ребенком играла с наибольшим удовольствием. Десяти лет, в школе, была ведьмой, а пятнадцатилетней, в гимназии, – всегда милая фея. Чем старше я становилась, тем сильнее хотела всем доказать, как я добра и мила. Старалась не допускать никакой раздражительности. Часто так бывает и теперь, хотя внешне я этого не выказываю.

Порядочный человек никогда не произнесет ни одного громкого слова и не скажет “нет”, если его что-то раздражает. Так я воспитана. И дрессировка действовала. Наступил роковой момент, после которого я перестала защищаться. Одним ударом моя воля была сломлена. Мать неизменно бывала разочарована, когда я впадала в ярость. На следующий день она меня прощала. Она говорила, что забывает о том, что я была такой злой. Двойное мучение.

Открытие прошлого моего отца, годами длящийся обман, понимание того, что отец не был таким милым и добрым, каким я его считала. Все это означало конец моей самостоятельности. Неожиданно я сама тогда изменилась. Стала застенчивой и пугливой. Много плакала. Часто заходила в подвал, садилась на ящик из-под картофеля и накидывала на себя старую шинель моего отца. Я оставалась там до тех пор, пока не убеждалась, посмотрев в маленькое зеркальце, которым часто пользовалась, что мои глаза уже не красные и никто не сможет догадаться о том, что я плакала. И теперь мне все еще трудно определить, чего я хочу и чего не хочу. Многое передалось мне от моих родителей.

Самая большая трудность для меня, несмотря на прошлое моих родителей, не стать такой, какими были они. Я вижу в себе их частичку. Но стать другой, новой, я смогу только тогда, когда перестану видеть в родителях только жертв. Себя я рассматриваю как жертву их воспитания и прошлого. Лишь с того времени, когда я перестала считать своих родителей жертвами, появилась возможность отделиться от них. Исходя из исторических сведений и сообщений, содержащихся в фильмах и книгах, они представлялись мне преступниками. Но как их дочь я вижу и нечто иное. Они – беженцы, жившие в страхе, не имевшие денег и жилья. Так преступники не выглядят! Они чувствовали себя жертвами, я тоже всегда видела в них только жертв. Пока не поняла, что сама являюсь их жертвой. Теперь я знаю, что и во мне есть нечто от их преступности. Только я подхожу к этому по-другому. Сегодня это лучшее в моей жизни.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

- Я:** Вы уже придумали, о чем хотите со мной говорить?
- Герберт:** Нет, еще нет.
- Я:** Почему нет?
- Г.:** Я не знаю, что Вы хотите знать.
- Я:** Меня интересует Ваша жизнь и жизнь Ваших родителей.
- Г.:** Почему?
- Я:** Хороший вопрос.
- Г.:** Об этом много не расскажешь.
- Я:** Начнем с малого.
- Г.:** Что Вы хотите услышать?
- Я:** Все и правду.
- Г.:** С чего я должен начать?
- Я:** С чего можете.
- Г.:** Я думаю, что вообще не могу.
- Я:** Что не можете?
- Г.:** Говорить о моем отце.
- Я:** Почему нет?
- Г.:** Потому, что Вы, должно быть, хотите услышать только то, что он был преступником.
- Я:** Но он был им.
- Г.:** Вы полагаете, что он – один из преступников?
- Я:** А Вы как считаете?
- Г.:** Он мой отец.
- Я:** А кроме этого?
- Г.:** Что значит “кроме этого”?
- Я:** Кем он был до того, как стал Вашим отцом?
- Г.:** Откуда я могу это знать?
- Я:** Так спросите его.
- Г.:** К чему?
- Я:** Может быть, Ваш отец был преступником?
- Г.:** Вы хотите его оскорбить?
- Я:** Может быть.
- Г.:** Вы ведь не имеете никакого представления о том, кем он был в действительности.
- Я:** Верно.
- Г.:** Он был солдатом – как тысячи других.
- Я:** Солдатом в Треблинке?
- Г.:** В специальной команде.
- Я:** В какой именно?

Г.: Он служил только в канцелярии.
Я: Это он Вам рассказал?
Г.: Да.
Я: Когда?
Г.: Это было давно. Когда я его спрашивал, что он делал во время войны.
Я: Сколько Вам было тогда лет?
Г.: Думаю, пятнадцать.
Я: Почему Вы его об этом спросили?
Г.: В школе мы говорили тогда о третьем рейхе.
Я: Что еще он рассказал?
Г.: Что он иногда наблюдал за заключенными.
Я: За какими заключенными?
Г.: Теми, которых туда привозили.
Я: Кто они были?
Г.: Не задавайте глупых вопросов.
Я: Вы не можете произнести это слово?
Г.: Какое?
Я: Кто были эти заключенные?
Г.: Ну, евреи!
Я: Почему Вы так кричите?
Г.: Вы действуете мне на нервы.
Я: Ну и что?
Г.: Я сейчас прерву разговор.
Я: Хорошо, положите трубку.
Г.: Ладно...
Я: Что он там делал с евреями?
Г.: Не уничтожал их, если Вы это думаете.
Я: Так что же?
Г.: Следил за ними.
Я: Как он это делал?
Г.: Подробностей он мне не рассказывал.
Я: Что он рассказывал?
Г.: Он не находился при газовых камерах.
Я: Где он работал?
Г.: В канцелярии.
Я: Оттуда он следил за евреями?
Г.: Не будьте так агрессивны.
Я: Это Вас удивляет?
Г.: Какое Вам и мне до всего этого дело?
Я: Немного, за исключением того, что, возможно, Ваш отец погубил мою бабушку.
Г.: Это смешно.

Я: Я не могу по этому поводу смеяться.
Г.: Он же не мог ничего поделаться.
Я: Что не мог?
Г.: Отказаться.
Я: Почему?
Г.: Тогда бы они покончили с ним.
Я: Кто они?
Г.: Естественно, СС.
Я: Он ведь сам был в СС.
Г.: Но не добровольно.
Я: Так *он* об этом рассказывал?
Г.: Да.
Я: Кто его принуждал?
Г.: Этого я точно не знаю.
Я: Вы его не спрашивали?
Г.: Оставьте меня в покое. Что я знаю об этом?!Я: Ничего, но если бы Вы его спросили...
Г.: Он хотел выжить, больше ничего.
Я: Убивая других?
Г.: Он никого не убивал!
Я: Вы сами не верите в это: он служил три года в лагере.
Г.: Он был в управлении.
Я: Тогда он убивал, сидя за письменным столом.
Г.: Это ужасно, каким Вы его изображаете.
Я: Каким же я его изображаю?
Г.: Как подлого преступника.
Я: Ну и что?
Г.: Но ведь он мой отец.
Я: Ну и что?
Г.: Сотни работали в управлении.
Я: В таком случае сотни были убийцами.
Г.: Вы озлоблены.
Я: Да, конечно.
Г.: Я спрашиваю себя, какое мне до этого дело?
Я: Никакого.
Г.: Почему Вы так на меня нападаете?
Я: Потому что Вы защищаете своего отца.
Г.: Может быть, я должен его поносить?
Я: Мне это безразлично.
Г.: Что я тогда должен делать?
Я: Доискиваться правды.
Г.: А если я ее узнаю?
Я: Тогда осудите отца, если он этого заслуживает.

Г.: Собственного отца?
Я: Если он преступник, скажите ему это.
Г.: Собственному отцу?
Я: Мне Вас жаль.
Г.: Почему же?
Я: Бедный Вы парень.
Г.: Почему?
Я: У Вас такой отец.
Г.: Вы снова его оскорбляете.
Я: Он мне не симпатичен.
Г.: Но Вы его совсем не знаете.
Я: Мне достаточно того, что я о нем знаю.
Г.: Но у него есть совсем другие качества.
Я: Какие?
Г.: Он может быть любезным, приветливым и милым, веселым.
Я: Какое это имеет ко всему отношение?
Г.: К чему?
Я: К тому, что он тогда делал.
Г.: Проклятье, Вы сами себя погубите своей ненавистью.
Я: А Вы нет?
Г.: Я не ненавижу его.
Я: Он убийца!
Г.: Вы снова начинаете.
Я: Я не прекращу.
Г.: Вы не могли бы забыть?
Я: Кое-что нет.
Г.: Он тоже нет.
Я: Бедный парень!
Г.: Он достаточно пережил.
Я: Что же именно?
Г.: После войны его преследовали и обвиняли.
Я: Да, я знаю, и потом оправдали.
Г.: Справедливо.
Я: Откуда Вы это знаете?
Г.: Я верю ему.
Я: Чему? Что он ничего не сделал?
Г.: Да.
Я: Вы лжете самому себе.
Г.: А Вы со своей ненавистью никому не даете жить.
Я: Меня не так уж интересует Ваш отец, меня интересует Вы.
Г.: Почему я?

Я: Как Вы с этим живете?
Г.: Я с отцом больше не живу.
Я: Любите Вы его как отца?
Г.: Нет.
Я: С какого времени больше не любите?
Г.: Я его не любил, но уважал.
Я: А теперь?
Г.: Мне его просто жаль.
Я: Почему вдруг?
Г.: Он стар, трясется, не может самостоятельно ходить, даже есть.
Я: Почему Вы его никогда не любили?
Г.: Я его даже ненавидел.
Я: Он Вам безразличен?
Г.: Нет, не в этом дело.
Я: Вы не такой, как он?
Г.: И да, и нет.
Я: Как это?
Г.: У меня слишком много от него того, что мне не нравится и наоборот.
Я: И что еще?
Г.: Ничего.
Я: Расскажите же что-нибудь еще о себе и своем отце.
Г.: Ах, оставьте же меня!
Я: Вам неприятен этот разговор?
Г.: Да, очень.
Я: Почему?
Г.: У Вас неприятная манера задавать вопросы.
Я: Вы находите?
Г.: Вы заставляете меня становиться на сторону отца.
Я: Я не хочу этого.
Г.: Но Вы это делаете.
Я: Между Вами и мной нет непреодолимой стены.
Г.: А у моего отца?
Я: Да, там она есть.
Г.: Вот видите, Вы меня туда толкаете.
Я: Я этого не хотел.
Г.: Вы оперируете его виной.
Я: Каким образом?
Г.: Если я его не ненавижу, значит я тоже виновен.
Я: Нет, нет.
Г.: Тем не менее для Вас это так очевидно.
Я: Нет, я это понимаю не так.

Г.: А я именно так.
Я: Что же я делаю неправильно?
Г.: Вы занимаетесь плохой игрой.
Я: Теперь Вы заходите слишком далеко.
Г.: А Вы заходите слишком далеко со своей ненавистью.
Я: Я этого не понимаю.
Г.: Я не могу уменьшить Вашу ненависть.
Я: Это я уже знаю.
Г.: Поэтому Вы остаетесь с ней один.
Я: Почему?
Г.: Потому что я в этом Вам не помощник.
Я: Но Вы мне и не нужны.
Г.: В этом я сомневаюсь.
Я: Почему?
Г.: Я могу забыть, а Вы не можете.
Я: Об этом мы уже говорили.
Г.: Теперь мне Вас жаль.
Я: Ну, благодарю.
Г.: Вы – несчастная собака.
Я: Послушайте!
Г.: Несчастливая собака: никто не слышит, как она лает.
Я: Поцелуйте мою задницу.
Г.: Никто Вам не поможет.
Я: Уже хорошо.
Г.: Вас сожрет ненависть, а я буду жить.
Я: Желаю Вам много счастья.
Г.: Смешно, как Вы себя ведете.
Я: Смело, смело для сына палача.
Г.: Меня обидеть Вы не можете.
Я: Я вижу это.
Г.: Давайте прекратим разговор, он больше не имеет смысла.
Я: Да, давайте прекратим, чтобы Вы могли приносить своему старому пердуну горячий чай.
Г.: Теперь Ваши нервы не выдержали.
Я: Да, верно, давайте закончим.
Г.: Нам нечего сказать друг другу.
Я: Да, к сожалению.
Г.: Я не дам Вам никакого интервью.
Я: А я и не хочу больше никакого интервью.
Г.: Вы не задаете вопросов, Вы только ругаете.
Я: Верно, во всяком случае Вас.
Г.: Жаль, может быть, мы упустили шанс.
Я: Может быть, Вы и правы.

Г.: Мы теперь друзья?
Я: Нет, безусловно, нет.
Г.: А кто же?
Я: Я не знаю.
Г.: Собственно, все это грустно.
Я: Да.
Г.: Вы действительно думаете, что мой отец – убийца?
Я: Уже не знаю.
Г.: Во всяком случае, я не могу этого представить.
Я: Я тоже.
Г.: Кто же может себе такое представить?
Я: В этом Вы правы.
Г.: Ну, ладно.
Я: Да.
Г.: Я думаю, что не буду давать интервью.
Я: Как хотите.
Г.: Вам это неприятно.
Я: Нет.
Г.: Мне тоже нет.
Я: Могу себе представить.
Г.: Ну, давайте на этом закончим.
Я: Давайте.
Г.: Может быть, когда-нибудь совершенно случайно увидимся.
Я: Я даже не знаю, как Вы выглядите.
Г.: И то правда.
Я: Всего доброго.
Г.: И Вам тоже.

ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЙ

Эгон (26 лет)

На следующий день после получения аттестата о среднем образовании я сказал матери, что буду изучать медицину. Для нее это было шоком. Она посмотрела на меня – к этому времени она была уже очень худой, с дрожащими руками – и сказала лишь: “Дитя мое, только не делай этого!”.

Я ответил ей, что нет смысла ничего обсуждать, мое решение окончательно, я хочу быть таким же хорошим врачом, каким был мой отец. Вне зависимости от того, в чем его теперь упрекают.

Мать не хотела тогда в это поверить. Она была несчастна, плакала и чуть слышно говорила сама с собой. Бормотала что-то про себя, я едва мог ее понять.

Пожалуй, это было к лучшему. Я вовсе не хотел слушать, что она говорит. Я знал от нее, что “отец своей профессиональней принес семье только несчастье”. И уже сотни раз спорил с матерью об этом. Профессия моего отца, как и его работа, вовсе не была несчастьем, и уж совсем не было несчастьем то, *что и для кого* он делал.

Мать была молода, когда вышла за него замуж и стала, должно быть, уважаемой супругой врача С.С. Неожиданно, когда все кончилось и речь пошла о тех преступлениях, в которых отец был соучастником, именно он оказался единственной причиной несчастий семьи. Но это смешно. Отец был медиком, ученым и, кроме того, убежденным национал-социалистом.

Мать всегда говорила, что ему не следовало добровольно идти работать в Дахау, чтобы принести больше пользы. Но в то время она была рада тому, что ему не надо отправляться на фронт. Останься он, жаловалась она, обычным врачом, то избавил бы семью от неприятностей. Мол, всех этих бед после войны не было бы. Но ему всегда и во всем необходимо было соучаствовать. Годами изо дня в день она вела такие разговоры. Особенно с тех пор, как отец умер. Если речь об этом заходит при моей сестре (она на десять лет старше меня, родилась еще во время войны), то она со всем соглашается. Обе они часто приводят меня в ярость тем, что пытаются свалить все на отца. “Ах, если бы он сделал это так, сделал по-другому, все было бы иначе”.

Вот уже шесть лет, как отец умер, и с этого времени он каждый день умирает заново. Его не оставляют в покое. Сюзанна в третий раз замужем – виноват отец с его неправильным воспитанием. Кроме того, он со своим прошлым никогда не был примером для нее. По крайней мере, если и был, то в высшей степени негативным, что, так сказать, отдаляло от него. Я не знаю, что она под этим понимает, – теперь, когда он уже мертв. Куда уж дальше можно отдалиться... Матери не хватает денег –

виноват отец: он слишком мало оставил и не имел после войны приличной службы. Трудности со мной – виноват отец: он обо мне не заботился. Думаю, если мать и сестра будут страдать от запоров, они и это припишут отцу.

Но при его жизни против него не говорилось ни слова. Мать всегда суетилась вокруг: “Не устал ли ты, не хочешь ли отдохнуть? Дайте же отцу газету и его домашние туфли. Нравится ли тебе суп, трудно ли было на работе?”

Сюзанна обнимала его, когда он вечером приходил домой. Мать целовала в щеку. При этом она втягивала в себя губы – меня еще ребенком удивляло, как они целуются: лишь бы не коснуться другого ртом. Меня тошнило, когда мать обнимала меня. Она прижималась ртом к моей щеке, и я ощущал несколько волосков на ее верхней губе. Меня трясло от такой ласки. Мать и Сюзанна во время прогулок всегда шли рядом с отцом, под руку, ровным шагом. Я – несколько в стороне, не существуя для них. Они его ненавидели, а я уважал. Но я был ему настолько безразличен, что и описать нельзя. Всякий раз, когда он играл со мной, это было простым исполнением родительского долга. Он никогда не видел ничего, что я ему показывал, даже если в упор смотрел на это. Он не помнил о моем дне рождения, сотни раз забывал об обещании поиграть со мной в мяч или покататься на велосипеде. Но несмотря ни на что, я все равно его уважал и защищал от тех, кто его ругал. Я – поздний, нежелательный ребенок. Когда я появился на свет, семья, вероятно говоря, уже и не было. Я родился в 1960 году, отцу было уже пятьдесят, матери – тридцать восемь. Сестра родилась в 1944-м. Родители познакомились в лагере, но они не были заключенными. Отец вернулся с фронта после ранения в ногу. Он и позже слегка хромал. Ранение было получено в первые месяцы войны. И было результатом автокатастрофы, произошедшей где-то недалеко от линии фронта. Видимо, не все было в порядке. Возможно, он был пьян или что-то другое. Во всяком случае после госпиталя он добровольно стал работать врачом в Дахау. Так, по крайней мере, он мне однажды рассказывал. Мать же была дочерью одного его приятеля или коллеги. Не знаю, что еще можно добавить по этому поводу.

С национал-социалистами отец был с самого начала. Он учился в Берлине и уже студентом присоединился к их движению. В 1933 году они занимались тем, что мешали еврейским студентам ходить в университет, отбирали у них документы. Он часто рассказывал об этом. Став врачом, сразу же пошел работать в СС. Отец нередко повторял, что именно врачи всегда были верны партии. Они даже купили для партии газету “*Volkischer Beobachter*”. До конца жизни он гордился ролью, которую исполнял во время войны. Любил повторять: “Врач защищает, оберегает и продлевает жизнь людей. Врач, обладающий национальным сознанием. делает это, если нужно, за счет жизни другого. Этим он отличается от

врача, лишённого национального чувства”. Отец всегда придерживался мнения, что его задача – селективно, как он это называл, помогать людям и выполнять свое дело. Он был убежден, что его жизнь и жизнь других людей – не одно и то же.

Отец стал врачом СС не для того, чтобы получить хорошую должность, как это делали многие. Тогда в Германии было немало врачей-евреев, так что каждый изгнанный еврей освобождал кому-то теплое местечко. Отец терпеть не мог этих карьеристов и возлагал на них вину за катастрофический конец движения.

В основном, говорил он часто, все люди совершают одни и те же поступки. Но одни имеют на это право, другие – нет. Солдат и преступник – оба убивают. Одного прославляют, другого казнят. Когда он частенько об этом рассуждал, я сидел не шевелясь и слушал его. Отец терпеть не мог, когда его перебивали вопросами. Возможно, он даже не знал, что я к нему прислушиваюсь...

Он считал себя интеллигентом третьего рейха, индивидуалистом в массовом движении. Немецкий народ был для него организмом, единым телом. И его задачей как врача было защищать этот организм от болезней и несчастий, устранять тех, кто является источником страдания, и вести исследования ради подготовки этого тела к будущему.

Так он говорил всегда. Какое это чувство, когда считаешь себя ответственным за миллионы людей! Прежде всего за будущее своего народа! А ведь он был тогда совсем молод – немногим старше, чем я теперь. И сейчас я думаю о себе: какие великие дела должен совершить? Ставить перед собой такие задачи – что еще должен желать молодой ученый? Можно относиться к национал-социализму как угодно, но то, что за ним стоит, – это, по существу, медицинская философия. Такие понятия, как раса, народ, жизненное пространство, знания о расовой гигиене, забота о чистоте расы, учение о расах – все это вне сомнений. Построение нового общества без участия врачей с самого начала обречено на неудачу. Отец в этом отношении сильно на меня повлиял.

Я, безусловно, не неонацист. И вообще не понимаю, что это значит. То время прошло. Только глупец может желать его возвращения – это все равно, что желать самому себе поражения. Система оказалась несостоятельной не из-за идеи, а из-за того, как ее осуществляли. Конечно, возможно и по причине некоторых идей, но не из-за ее основных принципов. Я всегда протестую, когда то время осуждают абстрактно и недифференцированно. В школе я часто был единственным в классе, кого это волновало. У нас был учитель истории – убежденный антифашист. Так он сам себя называл. Во время войны он был еще мальчиком. Теперь, когда нет никакого фашизма, всякому легко быть его противником. Но что это может изменить в жизни такого человека? В начальных классах школы я был к этому довольно равнодушен и думал: пускай себе говорят, я-то

знаю, что к чему. Но со временем такой подход не мог привести ни к чему хорошему. Если все, что говорят, правильно, то мы немцы, были народом преступников и бездельцев. Однако теперь ясно, что это не так: наши прежние враги – сегодня наши ближайшие союзники.

Однажды в школе нам писали сочинение на тему “Участие врачей в преступлениях нацистско-социалистов”. Тогда я подумал: ну, нет! Моего отца я вам не дам уничтожить. В своем сочинении я защищал врачей и попытался это сделать с помощью аргументов, заимствованных у отца. Вы себе не можете представить, что тут началось! Меня вызвали к директору, родителей пригласили в школу. Директор грозил исключить меня из школы, а о родителях сообщить, куда следует. И Бог знает, что еще. Но доводов никаких не приводилось. Они упрекали меня в том, что я неонацист. Весьма неординарно. Еще несколько лет тому назад нельзя было, вероятно, стать даже почтальоном без партийного значка, а теперь партийность – бранное слово... Кроме того, они пытались с помощью коварных вопросов выяснить у меня, не имею ли я что-нибудь против турок, не состою ли в какой-нибудь группе, не рисую ли на стенах свастику.

Я решил молчать. Что и выполнил. Не сказал ни единого слова. Хотел остаться для них загадкой. И только когда мне задали вопрос, не стоит ли за всем этим мой отец, я расвирепел. “У меня есть свое собственное мнение”, – сказал я им и после этого опять замолчал. Последовали обычные предупреждения со стороны директора школы, и на том все было кончено.

Как-то вечером отец завел со мной разговор. Это был, вероятно, единственный вечер в моей жизни, когда он беседовал со мною, а не “мимо” меня. Он смотрел мне в глаза, как мужчина мужчине. Это был великолепный вечер. Он не злился на меня. Напротив. Он пытался мне объяснить, что с моим образом мыслей сегодня не так просто высказываться публично. Несмотря на его критические замечания, я чувствовал: он гордился мною.

После войны отец не мог больше работать врачом. Друзья предложили ему работу в фармацевтической промышленности. Он занимался исследовательской деятельностью до самой смерти. Отец изменил своей профессии. Если его кто-нибудь спрашивал, где он трудится, всегда отвечал, что он – химик и работает как исследователь. Думаю, он немного стыдился того, что будучи врачом, не лечит больных.

Мы всегда жили в Берлине. Я ходил там в школу и получил аттестат. Теперь почти завершил свое образование. В дальнейшем мне хотелось бы заняться терапией, меня это интересует больше всего. Сестра также живет в Берлине. Она учительница, была два раза замужем. Один раз даже за евреем. Чего только она ни испробовала и ни испытала. Я совсем другой, чем она. Мы больше не поддерживаем отношений друг с другом. Я рад, что обычно не вижу ее и мать. Встречаемся только на Рождество. Сестра сразу же начинает меня ругать. Я почти не реагирую на это.

Вскоре после начала учебы в университете я примкнул к одной группе студентов. Наше объединение чтит немецкие национальные основы, стремится сохранить то позитивное, что было в прошлом и использовать его для будущего. Наконец снова придет время, когда можно будет с гордостью называть себя немцем. Мы встречаемся каждый вторник. Нет, мы ни в коем случае не боевое объединение или нечто подобное. Это мы отвергаем. У нас нет желания жить среди экспонатов прошлого – мы не музейные сторожа. Я бы сказал, что главной нашей заботой являются поиски новой национальной идентичности. Немецкий народ – гордый народ, он не кричит и не требует сразу же установления диктатуры. Во всяком случае – национал-социалистической. Прежде это имело смысл, поскольку надо было остановить коммунистов. В противном случае мы были бы теперь частью восточного блока.

Жаль, что отец так мало рассказывал о том времени. Он был немногословным человеком. За многие годы – только несколько фраз о его работе в Дахау. Случайные замечания об экспериментах, о лечении заключенных; немного – о смерти тысяч людей или о быстром финале, которого в лагере никто не ожидал. Действовал бы я тогда так же? Думаю, что да. Шла война, царило всеобщее воодушевление. И война была не только на фронте между двумя враждебными армиями. Она шла также в собственной стране. Врагами были не только русский или американец. Но также коммунист, еврей или цыган. Что в этом абсурдного? Любой недоброжелатель, каждый, кто настроен враждебно, несет в себе нечто иррациональное. Вот, стоя передо мной, он выглядит, как и я, и неожиданно оказывается врагом.

Либо я верю в это, либо нет. И если я верю, то воспринимаю любого из них как противника. Как вражеского солдата и враждебную расу. Такая была тогда идеология. Не понимаю, почему теперь так по-разному к этому относятся. Почему солдат, годами стрелявший в других, бросавший гранаты в жилые дома, топивший суда, взрывавший мосты и при этом убивавший женщин и детей, после войны может вернуться домой и вести, так сказать, мирную жизнь дальше. А мой отец, в отличие от него, считается преступником. Им обоим приказывали убивать. Каждому по-своему. Оба они были убеждены, что поступают правильно. Я уже говорил, что действовал бы точно так же. Могу представить себе, что это вас ужасает, но не хочу выдавать себя за того, кто отрекается от своего отца. Напротив, я горжусь им.

Годами существовала опасность, что против него будет возбуждено уголовное дело. Этого он совершенно не боялся. Я ему удивлялся, а он просто меня игнорировал. В сущности, это самое печальное во всей истории. И противные сцены в рождественские дни. Часами отец мог вместе с сестрой распаковывать подарки, восхищаться ею, примеряющей новые платья, одевать ей на шею ожерелье. Он обожествлял ее. А меня по-

прежнему не замечал. Он не был враждебен, никогда не бил меня. Одно только меня ужасало – то, что он смотрел как бы мимо меня. Я вынужден был повторять одну и ту же фразу три-четыре раза, прежде чем он на нее отреагирует. Не могу понять, отчего так. Он ненавидел своего родного сына или был к нему по меньшей мере равнодушен.

Моя мать говорит, что я очень похож на отца в юности. Незадолго до конца войны он бежал в Берлин. Затем, когда все кончилось, жил, как другие.

Сейчас я не знаю, что должен делать дальше. Все так запутано. Иногда, когда я говорю о нем, он как будто чужой, кого я никогда не видел, но кого мне часто описывали. Я передаю эти описания, но не собственные впечатления. Если меня теперь спрашивают, как он выглядел, то я должен посмотреть на фото, чтобы вспомнить. Цвет глаз? Думаю, голубые или серые. Он был несколько приземист, не очень высок ростом, довольно полный. Я похож на него. Мы оба – не красавцы. Моя сестра, собственно говоря, уродлива. Вероятно поэтому у нее такие трудности с мужчинами. У меня нет постоянной подруги. Да их никогда и не было. Одно время я ухаживал за дочерью друзей моих родителей, но продолжалось это недолго. Теперь у меня трудности с женщинами. Как могу я это опосредовать? Они меня не интересуют. Возможно, нужно попытаться хоть один раз сблизиться с женщиной постарше. Молодые женщины и мои ровесницы не понимают меня. То, что интересует их, неинтересно мне. Настоящую спутницу я представляю себе так: товарищ, который пойдет за тобой в огонь и воду. Естественно, необходимо политическое единодушие. Но в нашей студенческой группе мало женщин, и те все уже заняты. Со временем это уладится. Женщин достаточно, одна из них будет моей.

Я их не боюсь, об этом речи нет. Но когда я вижу, сколь беспокойно для многих молодых мужчин их общение со слабым полом, то предпочитаю держаться в стороне. Моя сестра меняет ухажеров одного за другим. Она приводит этих типов даже домой и проводит с ними ночь у нас. Никакого стыда у нее нет. Но от этого ей не лучше: сейчас она одна, как и я. Я лучше повременю.

Друзья у меня уже есть. Мои товарищи на моей стороне. Мы держимся все вместе. Если кому-то необходима поддержка, помогают все. Никто не боится остаться в одиночестве.

Два года тому назад я ушел из дома. Снимаю комнату у вдовы товарища моего отца. У нее огромная квартира. Она живет одна и заботится обо мне. Готовит завтрак, стирает белье. Мне здесь очень хорошо, лучше, чем у моей матери. Кроме того, она охотно рассказывает о прошлом. Она знала моего отца еще до войны, ее муж был, как я думаю, коллегой моего отца. Она мне поведала, каким был отец в молодости. Как он выглядел, как познакомился с матерью, а также некоторые подробности о

его работе во время войны. Эта женщина рассказывала, что среди заключенных отец пользовался хорошей репутацией. Он не был одним из этих мясников. Не садист и не убийца. Она рассказала, будто бы он помогал бежать каким-то заключенным, но это скорее всего вымысел.

У вдовы есть дочь. Она немного старше меня и живет в другом городе. Раз в месяц приезжает навестить мать. Могу вам рассказать, что у нас с ней, если только вы не назовете имени. Несмотря на то что я не пользуюсь успехом у женщин, каждый раз, когда дочь моей квартирной хозяйки приезжает, она спит со мной. Просто приходит и ложится ко мне в постель без лишних разговоров. До этого ничего подобного у меня не было. Вероятно, вдова надеется, что я когда-нибудь женюсь на ней. Одно время я об этом подумывал. Но эта молодая женщина ведет очень свободный образ жизни. Может быть, по моим представлениям, она и с другими ведет себя также? Она настолько бесстыдна, что я ей удивляюсь. Ничего не стесняется. Всегда смеется и веселится. Когда я делюсь с ней своими проблемами, она хохочет. Характерно, что с ней эти проблемы перестают казаться мне столь драматичными.

Иногда я думаю, что следовало бы и мне быть таким же свободным. Просто делать то, что тебе хочется, даже в сексе. Но, вероятно, у меня другое предназначение в жизни. Должно быть, все в нашей группе живет на свете не для удовольствий. Наверно, мы будем новой интеллигенцией Германии. Я уверен, что придет еще время, сходное с прошлым. Но оно будет иным, чем нынешнее. Люди не могут жить без символов и лидеров, во всяком случае продолжительное время. Новые вожди будут другими. Война и уничтожение людей не будут больше целью – настанет власть без войны. Смерть одного не будет больше условием жизни другого. Установится господство без жертв, только подчинение, позитивное подчинение. Теперь не так просто мобилизовать массы. Люди стали более критичными. Они воодушевляются, когда перед ними враг, отвечающий их “критическим” представлениям. Это заметно в движении за мир. Мы это изучали. По-нашему мнению, немца еще можно мобилизовать, но для этого необходим соответствующий враг.

Я и мои друзья – в большинстве врачи – наготове. У нас еще есть время. Мы не разрешим использовать себя каким-либо идиотам, как это случилось с нашими отцами. Специалисты необходимы при любых политических изменениях. Народ, как живое тело, нуждается во врачах. Мы умеем и умерщвлять, если нужно. Не потому, что этого желаем, а в соответствии с профессией. Это работа. Так же, как врач спасает пациента, вырезая ему слепую кишку, он может защищать и тело народа, устраняя крупные опухоли. Уничтожение жизни – всегда источник переживаний для других. При этом важно иметь собственные убеждения. В этом мой отец – образец для меня.

Я знаю, кто вы. И могу себе представить, что обо мне теперь думаете. Но я честный человек. Не хочу и не могу вводить вас в заблуждение. К тому же это очень важный вопрос для меня. Мой отец убивал – да, это так. У него на совести несколько сот заключенных. Он ставил опыты над людьми, не помогал больным узникам и ничего не предпринимал против ежедневной смерти в лагере. Но не забывайте: он делал все это из убеждений, а не из жажды убивать. Он не был извращенцем. Он – политически мыслящий человек, который случайно оказался сторонником ложного пути. Если бы не это, он бы ушел в отставку как высокоуважаемый профессор медицины и не должен был бы притворяться химиком, проводя остаток жизни в исследовательской лаборатории.

Я поступлю по-другому. Но я не стану другим.

ПРИМИРЯЮЩАЯ

Ингеборг (41 год)

Я родилась в 1945 году в Каринтии¹. Мой отец родом оттуда же и вырос в крайней бедности. Его отец в конце первой мировой войны пробыл в Каринтию из лагеря для военнопленных в Сибири. Это был фантастический побег. Где-то в Словении его опять арестовали и так были в тюрьме, что он умер от почечного кровозлияния. Это, несомненно, сформировало моего отца в духе немецкого национализма. Его мать должна была одна с детьми сводить концы с концами.

Я однажды видела дом, в котором вырос отец. Хижина из камня над ручьем, состоящая из одной только комнаты с плохо протапливавшейся печью. Это была бедность, которую теперь можно представить с трудом. Отец всегда, летом и зимой, ходил в школу в деревянных башмаках, без чулок. Ели хлеб с говяжьим жиром. Мать пыталась зарабатывать шитьем.

С тех пор у моего отца антипатия к католицизму. Крестьяне, под прищотом которых его часто оставляла мать, ужасно к нему относились, слывя при этом набожными людьми. Отец рано увлекся спортом. Он был очень ловок и смел. Однажды он сделал стойку на руках на фабричной дымовой трубе и в другой раз прошел по перилам моста над бурной рекой. Есть еще целый ряд подобных случаев. Я часто слышала эти истории о нем. Как я уже говорила, бедность была невообразимой. Отец часто стоял перед кондитерской и мечтал о том, чтобы когда-нибудь купить выставленные там лакомства.

Он с самого начала примкнул к национал-социалистам. Не знаю, привело ли к этому его участие в гимнастическом союзе или его привлекла сама идея чистоты немецкой нации и ее этики.

В политическом отношении он всегда был очень наивен. Но это движение должно было его привлечь. Он стал подпольщиком и задолго до вступления немцев в Австрию был приговорен к двум годам тюремного заключения. После освобождения из тюрьмы он тотчас же отправился в Германию. Там его вдохновило массовое движение. Он поступил в спортивную школу в Берлине и очень успешно закончил ее. Думаю, что его лучшими годами были годы до войны, когда в Берлине проходила Олимпиада, а фашистское движение переживало высшую точку своего развития. Отец во всех отношениях соответствовал национал-социалистическому идеалу. Молод, ловок, аккуратен, фанатичен, без каких-либо сомнений. Он вернулся в Каринтию и был чем-то вроде спортивного гауляйтера, создал спортивную школу и очень активно работал в партии, в ее местной организации.

¹ Провинция в Австрии.

Потом разразилась война, отец тотчас же добровольно пошел в армию. Он легко мог освободиться от военной службы, но не захотел этого. Его тогдашняя философия – нельзя, имея идеалы, предоставлять право бороться за них другим. Он был в Польше и России. Но подробностей о военном времени я не знаю. Из его рассказов следует, что он со своими подчиненными всегда был на передовой. В конце войны отец снова оказался в Каринтии и прятался в горах от англичан. Они его искали. Почему, я не поняла. Вероятно, он имел нацистскую награду, орден Крови или какой-то иной. Незадолго до конца войны он был в Италии, где ему приходилось расстреливать партизан. Отец мне рассказывал, что он противился этому, но я точно не знаю, как он с Восточного фронта попал в Италию, потом снова в Австрию, не знаю и истории с орденом.

Я родилась в 1945 году. Отец дал знать англичанам, чтобы больше его не искали: после рождения ребенка он сдался добровольно.

Англичанами он был приговорен к двум годам тюрьмы и должен был их отсидеть. Несколько лет тому назад, когда я с мужем была в Израиле, мы встретили одного дальнего родственника мужа, который работал в той тюрьме, где находился в заключении отец. Это была для меня своеобразная ситуация. Мой муж – еврей, ты уже знаешь. Но об этом позднее.

В семнадцать или восемнадцать лет я начала спорить с отцом. Было две темы. Период нацизма и евреи. Я всегда хотела подвести его к тому, чтобы он осудил то время или говорил о собственных ошибках. Но отец всегда только оборонялся. Он просто не был готов к тому, чтобы осудить свою юность.

Когда речь заходила о евреях, естественно, говорили о государстве Израиль. “Смотри, что они делают сегодня в Израиле с палестинцами”. Потом следовали невероятные стереотипы. “Еврей также милитаризованы и держатся все вместе. Только мы так самокритичны, они же могут все себе позволить” и т. д.

Как-то отец рассказал, что в тюрьме его избил английский еврей. Он орал на него, обзывая “нацистской свиньей”. Отец счел это, так сказать, доказательством того, что евреи были не лучше. В таких случаях я всегда отвечала, что гнев такого человека нельзя сравнивать с преступлениями нацистов, но это было бессмысленно. С отцом непросто спорить. Когда я жила еще дома, мы были идеальной семьей. Отец предан семье, не пьет, не курит, не имеет никаких пороков. Занимались спортом, путешествовали, пели, в семье все делалось сообща. Даже если он выпивал или имел нескольких друзей, я его не осуждала. До тех пор, пока не стала интересоваться политикой. Тогда все переменялось. Отныне от его порядочности ничего не осталось.

Хотя мать росла в лучших условиях, чем отец, она была такой же, как и он. Руководила молодежным лагерем в Союзе немецких девушек. Утверждала, что тогда было весело и хорошо, люди друг другу всячески помогали.

Только когда горели синагоги, было не так хорошо. Мать говорила об этом даже с некоторой печалью. Бабушка, я ее еще помню, через несколько лет после войны твердила, что не нужно смешиваться с евреями. Чего я только не пыталась делать в эти годы, чтобы услышать по крайней мере одно слово сострадания. Вот реакция отца: “У любого режима есть свои жертвы”. Относительно уничтожения евреев он однажды сказал: “Это была ошибка, это нацистам больше повредило, чем помогло”.

Позднее, когда я ушла из дома, я очень интересовалась еврейством. Я развивала своего рода позитивные предубеждения. Читала все о концлагерях, о “бесчеловечной медицине”, преследованиях и уничтожениях. Одно время я себя полностью отождествляла с жертвами. Каждая история о человеке, пережившем нацистское преследование, так захватывала меня, что мне казалось, что я испытала все на себе. У меня было почти эротическое отношение к этим жертвам и, прежде всего к пережившим нацизм. Это дополнялось описаниями самих евреев, которые в каждой детали были прямой противоположностью рассказам моего отца. Эта политическая и моральная наивность, это незамутненное сознание, эта духовная косность, ограниченность. Ничто не соответствовало моему тогдашнему представлению о евреях. Когда я познакомилась с Алексом, естественно, сразу же рассказала об этом родителям. Совсем просто: знаю, мол, теперь симпатичного молодого парня, он еврей, не хотите ли как-нибудь с ним познакомиться. Первое, что сказали мои родители: “Только, пожалуйста, никаких детей!”. Алекс однажды побывал у нас. Единственное, что пришло на ум моей матери: он не спортсмен. Это было самым важным. Что он умен, они уже поняли. Родители опасались рождения метисов, обреченных на страдания и бедность.

У меня есть еще старшая сестра, с нею моим родителям тоже нелегко. У нее ребенок от испанца, замуж она вышла за американца. Когда она еще училась, то встречалась с африканцем.

Продолжу рассказ об Алексее. У нас двое детей, и я думаю, что мои родители очень их любят. Несмотря на это, они по существу не изменились. Благодаря Алексу я смогла выйти за пределы семейной традиции. В отношении моих родителей у него никогда не было ложных представлений. Он ставил под сомнение то, что они говорили, совершенно нормально с ними разговаривал и в отличие от меня не доверял авторитетам. В нашем браке было много привлекательного, но кое-что меня тяготило. Я люблю природу, часто и охотно путешествую. Когда со мной был Алекс, он беспрерывно что-то говорил. Мне же хотелось любоваться деревьями, но его они абсолютно не интересовали. Или: он часто совершенно неприлично вел себя у друзей, если находил их невыносимо скучными, вставал и уходил. А я всегда честно доживала до конца. Так была воспитана. В конце концов, я – перебежчик из национал-социалистического в еврейский лагерь. Ношу звезду Давида. Не потому, что исповедую иудейскую

религию, но она мне ближе, чем какая-нибудь другая. Мы празднуем Хануку и Пейсах с матерью Алекса. С ней у меня вообще тесный контакт. Она меня полностью признала и относится ко мне без предубеждения.

Несмотря на это, многое остается чуждым. Когда Алекс бывает вместе со своим другом, который тоже еврей, я едва понимаю их обоих. Тогда происходит то, что мне совершенно непонятно. Я уже не немка и не еврейка. Отношения с родителями в течение некоторого времени были плохими, потом постепенно улучшились. Думаю, понимая, что мой брак с Алексом прочен и серьезен, они стали относиться к нам намного мягче. Я тоже в чем-то изменилась по отношению к Алексу. Сначала преобладало чувство новизны. Два года у меня был так называемый "синдром карпа": мой рот от удивления никогда не закрывался. Я считала, что все это от предубеждения против евреев, которое должна преодолеть. Сегодня я все вижу иначе. Действительно, существует различие культур. И я пытаюсь примириться с ним. Евреи отличаются от нас.

Брак с Алексом, безусловно, помог мне добиться эмоционального освобождения от родителей. Покинуть дом было недостаточно. Самый важный шаг – освободиться от мира их идей. Теперь у меня совершенно другая точка зрения на авторитеты, чем раньше. Я не должна больше быть совершенством, для меня важнее действовать, а не ждать, когда все само собой придет к идеальному состоянию. Для меня уже давно не так много значит, что думают другие. Я чувствую себя свободной и независимой, хотя нужно иметь в виду, что в Австрии брак с евреем больше ограничивает, чем расширяет сферу деятельности. Со мной же произошло как раз обратное.

И все же прошло немало времени, прежде чем мы смогли оформить брак. Главный вопрос – о смене религии. Я к этому не стремилась, поскольку не религиозна. Потом, естественно, встал вопрос о том, как должны будут воспитываться дети. Вопрос все еще остается открытым. Вероятно, им самим придется когда-нибудь его решить. Речь идет о том, чтобы в будущем отказать от той и другой религиозной традиции. Наша свадьба прошла без пастора и раввина, а наши дети не изучают ни одно, ни другое вероучение. Хорошо ли это, я не знаю. Оставить мир моих родителей не означает непременно полностью перейти в мир Алекса. Слишком много в нем еще чуждого мне.

Когда Алекс находится в компании своего друга или других евреев, во мне всегда возникает чувство отчужденности. Непреодолимая стена, которую они сооружают между нами, оставляя меня за ее пределами, часто удивляет. Несмотря на долгие годы, прожитые вместе с Алексом, какая-то дистанция сохраняется. Теперь я ее признаю и не пытаюсь игнорировать, как прежде. Естественно, такая ситуация очень часто меня раздражала.

В конечном счете, жизнь с Алексом обогатила меня. Но в подобном расширении горизонта трагично то, что я потеряла родину. В этом я вижу вину своих родителей. Я не могла жить больше в семье, которую они считали образцовой. Однако мое решение жить с Алексом было решением жить в изоляции. Все ценности поставлены под сомнение. Место, в котором я выросла, стало чуждым и невыносимым. У меня немного друзей, мои старые товарищи меня не интересуют. Так что я все больше живу семьей.

Во всяком случае, думаю, что получила в этом браке больше, чем Алекс. Я очень отдалась от своих родителей, но он от своих – едва ли. Благодаря мне он вошел в контакт с этой страной. С природой, ландшафтом, красотой цветов и лугов. Я же приобрела скорее внутреннее беспокойство. Вырванная из своего окружения, не найдя нового, живу с человеком, который каждой чертой резко отличается от моего отца. И в рамках одного идеального немецко-национального поколения у моей голубоглазой с длинными светлыми волосами матери и отлично тренированного, стройного, чистого арийца из Каринтии отца, ставших молодыми бабушкой и дедушкой, отец их внуков – инородец-еврей. Вероятно, мой брак с Алексом может служить доказательством безрассудства и недолговечности идеологии, подобной национал-социализму. Может быть, мое замужество, моя жизнь с евреем здесь, в Австрии, – мой личный вклад в примирение и восстановление добрых отношений. Изменить своих родителей я не могу, но могу добиться того, что они признают еврея своим зятем. Во время нашей свадьбы они говорили всем, что счастливы и очень рады Алексу. Через пятнадцать лет после Освенцима это – прогресс. И не такой уж маленький.

ЖЕРТВА

Стефан (29 лет)

Мне всегда везет, в той же степени, как и тебе. Я был евреем в своей семье. Отец, мать, бабушка – все терроризировали меня. За мной зорко следили. Они не хотели обращать на меня внимания. Нет, не погубить, тогда все было бы напрасным. Подобно тому, как у птицы отрывают одно крыло и наблюдают за ее отчаянными попытками взлететь.

Я пытался от этого освободиться, от всего ускользнуть и сделать так, чтобы мною не интересовались. Когда чувствовал, что меня что-то волнует, я сопротивлялся, не давая этому чувству захватить себя. Родители же обладали “седьмым чувством”. Когда они только подозревали, что меня что-то тревожит, реагировали немедленно. Каждую мою боль они чувляли, им доставляло удовольствие обнаружить какую-нибудь мою слабость. Ребенком я фантазировал, что выживу, только если смогу спастись от них. Покажи им свои раны, и они посыпят их солью. Прихожу я домой с разбитыми коленями – получаю дополнительную взбучку за испачканные штаны. Если заплачу – побой, потому что веду себя не как мужчина. Обращаюсь за помощью – меня высмеивают. Они топали на меня ногами до тех пор, пока не отваливались каблукки.

О вас – евреях – всегда говорят, как о настоящих жертвах войны. Но для тех из них, кто ее пережил, война осталась позади, когда Гитлер покончил с собой. Только для нас, детей нацистов, война продолжается. Идолы третьего рейха открывали семейное поле битвы, в то время когда все другие поля сражений были превращены в пепел.

Родители-нацисты развивали во мне комплекс неполноценности с невероятной последовательностью. Ребенком я был настоящим идиотом. Всегда и везде только страх, перед всеми и каждым. В школе меня постоянно избивали одноклассники. Я не понимал, что можно защищаться. Страх сидит во мне еще сегодня. Перед каждым авторитетом я чувствовал себя неуверенно, судорожно сжимался.

Когда прервался мой первый роман, я был еще так глуп, что пошел к матери. Как я ожидал встретить ласку и понимание! Ей же не пришлось в голову ничего другого, как обвинить меня в этом разрыве. ...С какой бы бедой я к ним не пришел, всегда они со мной расправлялись. Ласки с их стороны вообще не было. Не могу припомнить ни одного случая, чтобы я сидел у матери на коленях, а она брала меня на руки. Или чтобы отец хоть однажды погладил меня по голове; о поцелуях, например, вообще говорить не приходится.

Позднее у меня сложилось искаженное представление о женщинах. Я исходил из того, что существуют только богини или потаскухи. Девяносто девять процентов женщин – потаскухи, редкие – богини, и, к сожалению,

нию, они не встречаются вовсе. Мне всегда казалось, что если я им дам все, что они хотят, меня тоже будут любить. Чему и следовал. Баловал их, дарил все, что им только хотелось, но все они меня обманывали. Когда мне было уже восемнадцать лет, я собрался поехать со своей первой подругой в Италию; полгода собирал деньги на дорогу. Потом дал ей деньги на билеты – больше ее я не видел. Но это было только начало.

Или с религией. В четырнадцать лет я стал очень религиозен. Каждое воскресенье ходил в церковь, по пятницам не ел мяса, усердно молился. Но вскоре я от этого отказался, что тоже не очень помогло. Одно время я подумывал о том, не лучше ли перейти к буддизму. Эта религия кротости мне близка. Она проповедует любовь и близость. Я мог бы просто принять буддизм, но не осмеливался. Мои родители лишали меня всякого желания к переменам. Обо всем, что было запрещено, я не разрешал себе думать, тем более задавать вопросы. О том, чтобы что-то требовать, вообще не могло быть и речи. Единственной мыслью, которая поддерживала во мне жизнь, была вера в любовь. В один прекрасный день, говорил я себе, ты познакомишься с богиней, и тогда все будет иначе.

Лет в двадцать я почувствовал, что все не ладится в моей жизни, и был этим сильно ущемлен. Цепь ударов, которые следовали один за другим. Когда я однажды рассказал отцу, что у меня не ладится с женщинами, он дал мне совет сходить хотя бы раз в бордель. Это называлось поддержкой. Я думаю, что был сильным только в детстве. Взрослым я стал слабее. В то время как другие продвигались в своем развитии и постепенно становились самостоятельной и жизнеспособней, я превращался в неуверенное и пугливое существо. Моя потребность в защите и безопасности росла. Но кто меня сегодня защищает? Я нахожусь в такой же опасности, как и евреи, это нас объединяет. Потому они мне так симпатичны. Агрессия моего отца раньше, несомненно, была направлена против евреев, но после войны их больше здесь нет. Теперь она предназначена мне. Отец был горд тем, что он делал. “Этим” он показал, говорил он часто. “Эти” перед ним дрожали. Сначала отец был в СА, но вовремя оттуда ушел. Он всех презирал. Евреев, цыган, гомосексуалистов, коммунистов. Сегодня он их ненавидит также, как раньше. Только он слишком труслив, чтобы говорить об этом открыто. Лишь в четырех стенах своего дома он большой герой. И его жертвой после войны был я. Не знаю, что делал мой отец во время войны. Меня не было тогда на свете. Я не имею к этому никакого отношения. И не чувствую себя за это ответственным. Такие слова, как “совместная вина”, “совместная ответственность”, “скорбь”, нахожу неуместными. За то, что совершал мой отец, я не могу себя обвинять: это был он, а не я. У меня столь же малое отношение к его делам, как к нему самому. Я совсем другой человек, вероятно, даже прямая ему противоположность. Я чувствую себя на другой стороне, как те в третьем рейхе, кто пострадал от него. Его грубость и агрессивность се-

годня опасны только для меня, не для других, на кого он непрерывно обрушивается, но вся его агрессия – только слова.

Меня он всю жизнь истязал. Почему теперь требуют, чтобы у меня было особое сочувствие к жертвам национал-социализма? Для них все уже закончилось. Те, кто хорошо пристроился, получает большую материальную помощь. Но нас, потомков нацистов, никто серьезно не воспринимает. Напротив! Пытаются нам доказать, что мы такие же, как наши отцы. Как часто учитель в школе говорил мне, когда заставлял меня за курением, что другого он от меня не ожидал. Вновь и вновь намеки на моего отца.

В течение какого-то времени отец являлся главой СС в городе. Больше всего ненавидят его местные социалисты. Некоторых из них он сажал в тюрьму. Из евреев никто после войны к нам в город не вернулся. Вероятно, ни один из них не выжил, не знаю.

Если бы я жил в то время, безусловно бы не пошел в СС. Возможно, меня нацисты арестовали бы одним из первых. Я не из преступников. Они другие. Грубые, жестокие люди. Такие, как друзья моего отца. Они в состоянии выпить три литра пива и не быть пьяными. Мне плохо уже после двух стаканов. Они могли бы, вероятно, спать с любой женщиной, вне зависимости от того, любят ее или нет. Жрут, пьянствуют, развратничают всю жизнь, а когда кто-нибудь стоит у них на дороге, его устраниают. Давят, как муху, которая им мешает.

У такого отца я был обречен на гибель. Никакого выхода не было. Я бы его обменял на любого другого. Но и мать не лучше. Обычно то, что не получаешь от отца, дает мать. К ней я имею, естественно, еще больше претензий. От нее я не видел ласки. Она была крепкой немецкой женщиной. Широкой и толстой, с руками, как у мясника. При переходе улицы, я, маленький мальчик, давал ей руку; когда она ее отпускала, рука была побелевшей и бескровной.

Мать была внебрачной дочерью бабушки, работавшей в маленьком продуктовом магазине, владелец которого и был отцом моей матери. Думаю, мать не знала, кто ее отец. Бабушка еще жива. Старая, злая женщина с волосами на подбородке, как у цыгана, всегда пребывающая в плохом настроении. Она еще и сегодня восторженная национал-социалистка. Ее любимая фраза: “При следующем Гитлере такого конца не будет. Он не допустит поражения ни от кого”. Она убеждена, что появится новый Гитлер. И когда я пытаюсь спорить с ней или говорю об ужасах нацистского времени, она кричит, будто меня подстрекают евреи и коммунисты, которые теперь правят. Когда я ей однажды сказал, что меня подобно евреям преследуют преступники, такие же, как она, бабушка швырнула в меня туфлю. Она уже с трудом передвигается.

Родители моего отца также еще живы. Дедушка – рабочий, строитель. Бабушка сидит дома. У отца было еще два брата, которые погибли в

войну. Отец и бабушка не выносят друг друга. Дедушка всегда считал, что отец себя только унизил во время войны. Оба брата хотя бы воевали против настоящего противника. Отец же – против беспомощных. Но поймите меня правильно. Дедушка также был убежденным нацистом. Он только терпеть не мог СС. Считал, что они виновны в том, что война была проиграна. Одно из его изречений: “Если бы они меньше воевали в глубоком тылу, а больше на фронте, тогда Иван был бы сегодня мертв”.

Он ненавидел русских, но также и американцев и, естественно, евреев и негров. Родители отца живут в нашем же городе. На расстоянии получаса ходьбы. От всех них исходит только ненависть и презрение. И это – окружение, в котором я вырос. Здесь не только политика и точка зрения на определенные проблемы. Обсуждались почти все сферы жизни. Только одни проклятия, идет ли речь о жратве, сексе или расовой политике: одни, по их мнению, объедаются, другие развратничают и поэтому все не немецкое так или иначе подлежит истреблению.

Но для меня важнее проблемы любви. Любви к ближнему, межличностных отношений и, естественно, любви к природе и к себе самому. Люди, подобные моим родителям, деду и бабушке, не могут любить. Ничто и никого. Они не в состоянии даже представить себе, что можно испытывать это чувство к кому-нибудь.

Я совсем другой. Для меня любовь – самое важное в жизни. Могу даже простить и любить того, кто меня презирает. Думаю, что одно из самых главных отличий между мной и родителями – способность чувствовать. Впечатлительность для моих родственников – чуждое слово.

О моей жизни больше нечего рассказывать. До завершения среднего образования я жил с родителями, это было лет десять тому назад. Потом я уехал во Франкфурт, продолжал образование. В школе я всегда считался самым слабым и не умел добиться признания. Меня били, и я всегда был аутсайдером. Вероятно, потому что был довольно полным и неспортивным. Из-за темных волос я походил на еврея. Мне оставались чуждыми мужские забавы парней. Они украдкой курили, играли в футбол и подглядывали за девочками. Я часто ходил с ними на стадион, но меня в игру не брали. Моей обязанностью было приносить мяч, для чего нужно было садиться за воротами на случай, если кто-нибудь пробьет мимо. Однажды, мне тогда было одиннадцать или двенадцать лет, несколько ребят с одной девочкой пошли в кусты около стадиона. Девочка сняла свои трусы, высоко подняла юбку, и каждый должен был смотреть. Я стоял в стороне и хотел уже ударить, но Герхард, он был старшим, окликнул меня и сказал, что я должен вставить *туда* палец. Я тотчас же попытался убежать, но другие ребята крепко схватили меня и потащили к девочке. У нее вообще не было страха, она только смеялась. “Давай же, давай!”, – кричали все и толкали меня. Я упал на землю, плакал, умолял их отпустить меня. После чего меня оставили в покое. Через неделю вся

школа распускала обо мне сплетни. Самым ужасным было то, что девчонки тоже высмеивали меня.

Я всегда был одинок. И позднее, во время учебы во Франкфурте. Я жил у тетки моей матери, имел отдельную комнату. Однако там продолжался тот же кошмар, что и дома. Тетка была точной копией моих родителей.

Год тому назад я познакомился с моей нынешней подругой и переехал к ней. Она несколько старше меня, разведена, у нее двое детей. Она признает меня, не агрессивна, с ней я впервые такой, какой есть. С учебой было не очень ладно. Профессора требовали только зубрежки: ни знаний, ни обсуждений. И здесь требовались только сильные. Один из профессоров был евреем. Но и он не отличался от других. В нем я был больше всех разочарован. Думал, что с ним можно будет спокойно поговорить, он тебя поймет. Но он так приспособился, что в нем нельзя было различить иную натуру. Однажды во время экзамена я попытался ему объяснить, что мне не так просто, как другим, учиться автоматически. Знаешь, что он мне ответил? Я, мол, должен поступить на работу в банк, если меня так утомляет мышление. Ничего себе! Нацисты преследовали и почти полностью уничтожили его народ, а он не извлек из этого никаких уроков, что напоминает мне нравы господ типа моего папаша.

Дома я бываю очень редко. Вероятно, один раз в месяц. Там ничего не изменилось. Всегда одни и те же разговоры и дела, десятилетиями. Отец ругает русских, мать – торговку овощами, меня ни о чем не спрашивают. В лучшем случае при моем появлении – обычный пустой вопрос: как идут занятия? Еще не дослушав ответа, они говорят уже о чем-то другом.

Отец сейчас уже на пенсии. После войны он работал в какой-то строительной фирме. Отвечал за покупку материалов. Его шеф был таким же нацистом, как он. Когда бывают вдвоем, говорят только о войне и арестах. Оба служили в СС, чаще всего изгоняли людей из их квартир, чем очень гордились. С усмешкой они рассказывали, как при этом плакали мужчины и просили разрешения взять с собой хоть что-нибудь. Отец и его шеф всегда гордились своими преступлениями. Матери это не мешало. Она присутствовала при этом, вязала и смеялась. Если я вставал и выходил из комнаты, она окликала меня: я должен брать пример с отца, он был когда-то героем, а не такой тряпкой, как я.

Некоторых отец сам расстреливал. Они будто бы хотели ночью удрать. Это были молодые люди, которые не желали идти в армию и скрывались. Отец несколько раз подробно описывал, как он это проделывал. Он и сегодня ненавидит не только дезертиров, но и офицеров. Одни, говорит он, были трусами, другие сидели в казино, разрешая третьим воевать за себя.

У шефа моего отца, с которым они вместе были на войне, тоже есть сын. С ним я часто разговаривал о нашей ситуации. Мы – жертвы тех нацистов, которые живы сегодня. Мы – жертвы тех, кто уцелел после

гибели их режима. Никто не осознает это так, как мы. Когда Гитлер умер, многие из его помощников остались в живых и искали новые жертвы. Я чувствую теперь симпатию к цыганам, гомосексуалистам и евреям. Собственно говоря, я к ним и принадлежу. Кроме двух наших кошек, никто не относится ко мне так ласково. Но мой отец мучает их: пинает ногами и пытается поймать за хвост. Никому нет спасения от его грубости.

Сегодня у меня нет никаких союзников. И в евреях я разочаровался. Они меня не взяли в студенческий союз, и у меня, честно говоря, такое чувство, что они не хотят иметь со мной дело. Когда я думаю об Израиле, то могу себе представить, почему. Настоящие жертвы теперь совсем другие. Сейчас евреи – агрессоры. Студенты-евреи, которые учатся здесь, – зазнайки, это неописуемо. Солидарности они не знают. Страдание другого их не волнует. Они думают только о себе. Прошлое позади, сегодня речь о других. Сегодня евреям живется лучше, чем всем остальным. Им, как и черным, повсюду оказывают предпочтение. Только нас, детей нацистов, оставляют без внимания, нас не замечают. Мы – воплощенное наследие нацистской идеологии, наследие дьявола и последней фашизма внутри своих четырех стен. Я теперь никому не сочувствую.

Я плюю на все эти группы, которые возникают в университете в поддержку Южной Африки, Чили или советских евреев. Они выискивают жертвы как можно дальше от себя, не входя с ними в контакт. Они выходят на демонстрацию по поводу нескольких деревьев или ракет только потому, что могут из-за этого погибнуть. Все – эгоисты, проникнутые лживым сочувствием ради собственной значимости. Но по-настоящему обиженных в собственной стране никто не видит! Впечатлительность и эмоции в нашей стране не в почете. Я не принадлежу к категории победителей и не могу здесь преуспеть в чем-нибудь. Никто, кроме моей новой подруги, не знает, что такое преданность или самопожертвование. Я – калека в среде настоящих спортсменов, которые говорят только о рекордах. Они не замечают меня, сидящего в инвалидном кресле. Этот мир – чужой мне.

ПОСРЕДНИК

Вернер (41 год)

Я в каком-то роде – связующее звено между виновными и невинными. Сын виновного и отец невинных. Моя задача – дать надежду невинным. Виновные получили свое. Мое поколение – поколение людей с нечистой совестью. Вероятно, мои дочери иногда гордятся мною. Не столько потому, что я их отец, сколько потому, что я был порядочным человеком. Пожалуй, я даже пример для них. Как это отличается от моего отношения к своему отцу!

Но прежде всего – история. Мой отец родился в 1902 году. Его родители – богатые крестьяне с севера Германии. Они не были помещиками, но их хозяйство давало им возможность хорошо жить. Дедушка погиб во время первой мировой войны, и нанятый управляющий очень быстро разорил хозяйство. Моя бабушка была тогда относительно молода. Когда родился мой отец, ей было только шестнадцать лет; она уехала с детьми в Гамбург и вторично вышла замуж. На этот раз за простого рабочего. Мой отец, который был тогда молодым человеком, ненавидел отчима. Второй муж моей бабушки был коммунистом и партийным функционером. Уже тогда он представлял собой прямую противоположность моего отца и первого дедушки. Бабушка была замужем за совершенно разными людьми. Один был высокомерным богатым крестьянином, на фотографиях он – верхом на коне, смотрит свысока. В самом начале первой мировой войны он добровольно пошел в армию. Второй муж был книжным червем, всегда несколько несобранным, представить его верхом на лошади – невозможно. Мой отец – он был очень похож на своего отца – вообще не мог иметь со своим отчимом ничего общего.

Во время войны мой другой дедушка – коммунист – сидел три года в тюрьме. Но он уцелел и умер в 1975 году. Я боготворю этого человека. Он был самым значительным в моей жизни. Естественно, бабушка также неслучайно вышла замуж за него после зажиточного крестьянина.

Мой отец ушел из дома, когда появился отчим. Он приходил только к матери и каждый раз в отсутствие отчима. Отец очень рано пошел в армию. Сельское хозяйство для него больше ничего не значило, другую профессию он не хотел осваивать. В тридцатые годы он вступил в СС. Когда это было точно, я не знаю. Там он быстро сделал карьеру, закончил кадетскую школу СС в Брауншвейге и стал офицером, хотя никогда не сдавал экзамена на аттестат зрелости.

Последние два года перед началом войны были действительно успешными для карьеры моего отца. Он участвовал во многих событиях. В уничтожении СА, арестах, бесчинствах против евреев. Несмотря на это, он не был тем зверем, которого, возможно, теперь в нем видят. Когда

началась война, действовал за линией фронта, в оккупированных районах, на восточном фронте. Часто приезжал в Гамбург, проводил там несколько дней, навещал мать и возвращался.

Теперь я знаю почти со стопроцентной уверенностью, что в середине 1944 года он был переведен в Освенцим. Это было, так сказать, повышение по службе, с особым заданием. Он был там ровно один день, после этого попросился на фронт. Пожалуй, с того времени он больше не говорит. В начале 1945 года он был ранен и к концу войны вернулся домой с одной ногой.

Я родился в 1946 году. Моя мать на пятнадцать лет моложе отца. Встретились они незадолго до конца войны в госпитале. Родители отца происходили из немецкой семьи с востока. Мои родители поженились после войны и с тех пор живут в Гамбурге.

Отец – служащий, мать – домашняя хозяйка. Я был единственным ребенком. Благодаря тому, что отец находился на фронте, после войны он не подвергался преследованиям. Свидетельство о среднем образовании получил задним числом и, несмотря на инвалидность, добился вполне хорошего положения.

Мой отец был своеобразным человеком: молчаливым – таких я тогда никогда не встречал. Война и пережитое им до того, как он оказался на фронте, лишили его речи. Собственно говоря, в этом заключалась его неполноценность. Если ногу мог заменить протез, против немоты не было средств. У него были сильные руки, он был очень подвижен, мог часами ходить. Но его молчание было ужасным. Не будь моей матери, он бы, возможно, покончил с собой. В ней была какая-то смесь немецкой строгости и славянского тепла. Высокая и сильная, всегда с влажными руками, которые она вытирала о передник. Собственно говоря, у нее было два сына – мой отец и я. Один маленький с двумя ногами, другой – большой только с одной. Мать игнорировала молчание отца и говорила непрерывно. Она задавала вопрос и тут же отвечала на него. Думаю, отцу это очень нравилось. Он всегда спокойно сидел рядом с нею, кивал головой, при этом у него постоянно было благодушное лицо. Но он был напряжен и нервен, когда с ним разговаривал я.

Я вырос в Гамбурге. Учился там в школе и университете. В детстве главным человеком для меня был дедушка. Хотя он не был отцом моего отца, я называл его дедом. Это был странный старый человек, всегда веселый, несмотря на трехлетнее пребывание в тюрьме при нацизме. Чаще всего он носил берет, даже дома в квартире. Курил трубку, держал ее во рту все время, если она не горела. Он был хиппи и аутсайдер, когда поколения 1968 года не было еще и в помине.

Жил он не более чем в получасе ходьбы от нас. На велосипеде – всего несколько минут. Он и его жена, мать моего отца, имели небольшую квартиру на заднем дворе одного старого дома – кухня, жилая комната и

спальня. Жилая комната выглядела невероятно. Повсюду, где только можно было положить хоть маленький клочок бумаги, лежали книги и газеты. Чтобы сесть, дед слегка перемещал стул, так что все летело на пол, ногой отодвигал гору бумаг в сторону и предлагал мне сесть. В центре комнаты стоял большой обеденный стол, покрытый вместо скатерти толстым ковром. На стенах висели полки, заполненные книгами.

Посреди всего этого – дедушка, всегда сидящий за столом. Перед ним – стопка газет, на голове берет, во рту трубка. Локти на столе, поэтому он так любил ковер.

Бабушка сидела на кухне или в жилой комнате на единственном удобном месте. Это было старое просиженное плетенное кресло, которое, вероятно, было когда-то зеленым. Теперь обивка была порвана и в некоторых местах зашита. Сидя в этом кресле, бабушка курила и вязала. Она постоянно что-то вязала, но никогда я не видел ни одного готового пуловера или пары носков. Курили оба, в квартире был невообразимый воздух. Первое, что я делал, когда приходил к ним – открывал окно. Дедушка каждый раз стучал по столу и говорил: “Да, да, это Вернер, желающий, чтобы мы жили вечно”.

Дом стариков был моим домом. Я заходил к ним каждый четверг после школы. Забегал к матери обедать, потому что бабушка готовила очень плохо, бросал школьную сумку и с последним куском во рту торопился к дедушке. В первой половине дня он прочитывал уже все газеты, вырезал отдельные статьи, чтобы обсудить их со мною.

Его комментарий к важным событиям дня звучал примерно так: “Ты только посмотри на этого идиота, как тупо он смотрит. И послушай, что за чушь он опять несет”. При этом дед держал в одной руке вырезанную статью, другой рукой стучал по столу и смеялся. Ему доставляло удовольствие ругать этих типов из газеты. Он говорил со мною, так сказать, как мужчина с мужчиной. Я никогда не чувствовал себя маленьким, глупым юнцом. Дедушка обсуждал со мной важные дела, и я был горд. Позже бабушка приносила тарелку с кексами и две чашки кофе. Никогда бы ей не пришлось в голову предложить мне горячий шоколад.

Дедушка, конечно, оказывал на меня политическое влияние. Все, что должен был бы рассказать мне отец, я услышал от него. И, естественно, очень часто разговор заходил о времени нацизма. Часто с очень драматическими жестами, без каких-либо теоретических докладов. Он делал это в типичной для него манере – показывал напечатанное в газете фото какой-либо личности и говорил: “Смотри, Вернер. Так выглядит тот, кто погубил несколько тысяч людей. Не своими руками. Ради Бога! Он ведь не нелюдь. Он был высокопоставленным чиновником, подписывал документы и передавал их дальше. Их читали другие и, поскольку эти бумаги были сформулированы просто и ясно, сразу их понимали. Они в свою очередь поручали другим убивать. Так просто это шло. Каждый имел

свою задачу". Часто он рассказывал о тюремной жизни. О пытках, ежедневных расстрелах. За три года он сидел с тридцатью семью заключенными. Из них двадцать четыре были казнены.

Чем старше я становился, тем больше задавал вопросов. Я уже не сидел спокойно, только прислушиваясь. Естественно, однажды зашел разговор о моем отце. Я знал, что он и дедушка не хотят поддерживать друг с другом отношения. Отец посещал бабушку только в отсутствие деда. И это отчуждение исходило больше от отца, от дедушки я не слышал ни одного критического слова в его адрес. Он говорил о нем: "Твой отец – один из немногих, уже в то время понявших, что они примкнули к преступникам. Это делает ему честь. Но это его полностью выбило из колеи. Теперь он сломленный человек".

Все, что мне известно теперь об отце, я знаю от дедушки. Воодушевление, фанатизм, с которыми он примкнул к нацистам в начале их восхождения, ненависть и презрение по отношению к дедушке.

Когда мне было четырнадцать лет, наступил решающий момент в моей жизни. Я снова сидел у дедушки в комнате. Мы просматривали газеты. Снова один был нацистом, другой – преступником, третий – тупым, и настало тупым, что становился опасным. Обычные характеристики политиков. И на сей раз разговор зашел об отце. Дедушка пытался объяснить мне роль СС. В этот момент пришла бабушка, принесла нам кофе. Она поставила дрожащими руками чашки на стол, немного разлив, с тарелки упали несколько кексов. Но не пошла, как всегда, к своему креслу, стояла и ждала. Дедушка молчал, помешивая ложечкой свой кофе. "Рассказывай же дальше", – потребовала бабушка. Дед молчал. "Ты не можешь вечно скрывать от него правду", – продолжала бабушка. Дедушка положил в рот пару кексов и запил большим глотком кофе. "Если ты об этом не расскажешь – я сама это сделаю", – произнесла бабушка, все еще стоя рядом с дедушкой, продолжающим есть кексы. "Именно твой отец, – сказала бабушка – предал деда. Поэтому дед три года сидел в тюрьме".

Я ничего не понимал. Не знал, кто, кого, почему мог бы предать и почему дедушка должен был сидеть за это в тюрьме. В свои четырнадцать лет я знал о нацизме определенно больше, чем другие в моем возрасте. Но что *это* должно было означать? Было затянувшееся послеобеденное время. Домой я пришел очень поздно. Дедушка рассказывал, что во время войны он работал на военном заводе. Там из коммунистов, социалистов и небольшого числа католиков образовалась группа Сопротивления. Члены этой группы иногда бойкотировали производство, но особенно важной работой являлось распространение информации, касающейся транспортировки оружия. Тайными каналами эти сведения доходили до союзников. Дедушка называл свою функцию в этой группе "маленькими сосисками". Он тайно распространял листовки, ночью писал на стенах

лозунги против наци и иногда приносил кому-нибудь письмо, содержание которого никогда не знал.

Один раз он прятал товарища, которого искали эсэсовцы. Но о самых важных вещах, считал дедушка, он узнавал тогда, когда все было позади.

Однажды мой отец приехал с фронта в отпуск домой. Он навестил мать, когда дедушки не было, и случайно обнаружил листовку, направленную против наци. Дедушка всегда был рассеян и все оставлял лежать открытым. Это чудо, что он не был арестован раньше как борец Сопротивления. Дома отец не сказал ни одного слова, но на следующий день дедушку арестовали. Много позже, после войны, отец признался своей матери, что именно он выдал тогда деда.

Дедушка был совершенно спокоен, когда все это мне рассказал. В его словах не было ни ненависти, ни упрёка, ни горечи. Бабушка волновалась гораздо больше. Она снова и снова перебивала дедушку и кричала: "Подумай только, собственный сын! Это нужно себе представить!". Тогда они препирались друг с другом. Я впервые видел их спорящими. Но дедушка находил слова, оправдывающие моего отца. Он пытался объяснить, что это было за время, в какой ситуации находился мой отец. Дедушка не разрешал плохо говорить о нем.

Я полностью выдохся и вообще ничего не говорил. Не понимал, о чем идет речь. Один доносит на другого, и оба – из одной семьи. В этот день мне было трудно смотреть дедушке в глаза. Как будто я чувствовал себя виновным в том, что сделал мой отец. Как будто я сидел здесь вместо него, исполненный стыда и с нечистой совестью. Я хотел тогда только домой, к родителям, чтобы прокричать отцу в лицо: "Как мог ты это сделать!". Теперь я больше не в состоянии бывать у дедушки и чувствовать себя свободно и непринужденно. Впервые история моего отца была больше, чем просто история: я увидел, что его дела могли бы касаться и меня. Несмотря на то, что тогда я еще не появился на свет. Но чувство вины за то, что сделал не я, но и не кто-нибудь посторонний, а мой собственный отец, ужасной тяжестью навалилось на меня неподготовленного и ошеломило.

Много позже я извлек из этой ситуации нечто другое. Естественно, и раньше я знал, что во времена нацизма доносы были обычным явлением: даже внутри семьи. Но то были лишь рассказы, и все происходило где-то и у кого-то. Только причастность дедушки и отца делала это таким личным. Не было никакого выхода, не было возможности укрыться в чужие описания, в недоумения по поводу варварства других. Внезапно таким другим оказался мой отец.

Теперь в преподавательской работе я часто рассказываю об этом эпизоде. В качестве примера, как личная судьба очень близких друг другу людей может стать теоретическим разъяснением реальности. Тем самым

мне открылась повседневность фашизма. Жестокость и банальность маленькой жизни в одной семье наци и коммуниста.

Чем была лишь эта семья? Мой отец выдает отчима, мужа собственной матери, четко зная, что для того это означает смерть. Фанатик-наци, который доносит на собственную семью. После чего его направляют офицером в концентрационный лагерь, возможно, как вознаграждение за предательство. Через день он просит отправить его на фронт, там теряет ногу и остается живым только благодаря счастливому случаю.

Прошло какое-то время, пока я спросил об этом отца. Он посмотрел на меня усталыми глазами, встал и вышел из комнаты. Я больше никогда не возвращался к этой теме. И отец был не в состоянии произнести хотя бы одно слово об этом. Онемевший человек. Пара фраз о погоде, о еде, но если разговор только приближался к политике и особенно касался периода национал-социализма, он прекращал его. Так же и мать, которая обычно очень охотно и много разговаривает. Это была стена, которую я не мог, да и не хотел прошибить. Как-то я понял, что с этим мне не справиться. Оба, по-видимому, заключили союз: об определенных вещах просто не говорить. И если я расспрашивал мать об этом, когда отца не было дома, она лишь отвечала: "В этом нет никакого смысла, Вернер. Оставь нас в покое. И если ты будешь пытаться принуждать его к разговору, он станет говорить еще меньше".

И я прекратил расспросы. Продолжал ходить в школу, получил аттестат о среднем образовании, начал изучать социологию и политические науки. Благодаря дедушке я был естественно подготовлен, и шестьдесят восьмой год не был для меня неожиданностью. Я примкнул к троцкистам, участвовал во всех демонстрациях, распространял листовки, писал политические статьи для журналов, которые никто не читал. Прежде всего хотел добиться исторического взаимодействия между рабочими и революционными студентами. К сожалению, угнетенные, которых мы хотели освободить, не ценили этого и избивали нас перед фабричными зданиями.

Я все еще жил у своих родителей, которые меня не критиковали, и при любой возможности ходил к дедушке. Он без восторга относился к моей деятельности и считал, что я должен вначале закончить образование и только тогда заняться революцией. Обратное было бы не так хорошо. Дедушка стал стар и болел. Он не мог уже много читать и каждый день ждал меня, чтобы я прочитал ему газету. Только всегда он давал свой комментарий. В 1975 году дедушка умер. Ему было почти девяносто. Двумя месяцами позднее умерла бабушка. Ей было намного больше, чем девяносто. А в 1976 году скончался отец. В течение одного года я лишился всей родни. Жива еще только моя мать.

Я завершил образование, женился на Ульрике и получил место в университете. Теперь у меня две дочери, я живу во Франкфурте, преподаю.

Вся моя энергия уходит на занятия. Семинары по фашизму, лекции о Сопротивлении, поездки в концентрационные лагеря для получения информации и т. д. Пробую все. Правый уклон в политике страны последних лет не может помешать моей деятельности. Мы в университете чувствуем, что сегодня дует другой ветер. Никто не препятствует нам и никто не вмешивается в составление учебных планов. Но когда речь заходит о поддержке исследовательской работы, то отчетливо видно, что считается достойным или недостойным помощи. Больше всего я переживаю из-за того, что уравнивают национал-социалистов и коммунистов. Как эта точка зрения укоренилась, прежде всего я могу видеть в дискуссиях со студентами. Дело зашло так далеко, что оправдывают убийство коммуниста. Такое на семинарах я слышу достаточно часто.

Нынешние двадцатилетние, безусловно, в большинстве своем ни в коем случае не правые и тем более не неонацисты. Но они также скептически относятся к сопротивлению. В сопротивлении государству они видят что-то грязное, нечистоплотное, чего порядочный человек, считают они, делать не должен. Как будто бы эта современная молодежь страшится того, что может быть вовлечена в борьбу. Одна группа студентов даже жаловалась на меня. Они не хотят, чтобы им преподавал коммунист, что он якобы недостаточно объективен. На вопрос, почему они полагают, что я коммунист, был дан ответ, что я постоянно подчеркиваю роль коммунистов в сопротивлении национал-социализму. Этот исторический факт они не могли принять. Не помогало и то, что на семинарах мы говорили о других казненных участниках Сопротивления – о тех, кто в пятидесятые годы был убит сталинистами.

Но есть и другие студенты. Те, которые хотят все знать. После занятий они приходят ко мне, спрашивают о книгах и постоянно подчеркивают, что время национал-социализма никогда не должно повториться. Это придает мне мужества. Они напоминают мне о роли посредника. Мое преимущество в том, что я вырос среди переживших фашизм. Такое преимущество обязывает меня поведать молодым все, что я знаю. Прежде всего о предательстве члена своей семьи – сегодня, когда я думаю о нем, все еще не могу этого постичь. Я – сын офицера СС. Выходец из семьи, принимавшей непосредственное участие в самом большом преступлении человечества. То, что мой отец ушел из СС и добровольно отправился на фронт, не имеет значения: произошло это слишком поздно.

Различные судьбы в моей семье типичны для Германии XX века. Один дедушка погиб в первой мировой войне, второй – коммунист, отец сделал карьеру в СС и предал собственного отчима, сын – убежденный левый, он видит в коммунистах пример для себя. Такие скачки неправдоподобны.

А женщины? Моя бабушка прожила две различные жизни. В первой она была женой богатого крестьянина, имевшего двадцатикомнатный дом с прислугой, кухарками, нянями; во второй – женой левого рабочего,

жившего в трехкомнатной квартире. И мать, с ее невообразимой добротой, жила с моим разочаровавшимся отцом. Дедушка не был сталинистом, ругал восточноевропейских боссов. Он остается для меня примером и позитивной личностью в немецкой истории. Я подчеркиваю при этом – “немецкой”. Как и многие другие люди моего поколения, я был избавлен от того, чтобы с ненавистью относиться к своим родителям. Я люблю своего старого деда, и он остается для меня символом существования другой Германии.

Сихровски П.
Рожденные виновными: Исповеди детей нацистских преступников

**Редакционно-издательские работы выполнены
издательской группой "Комплекс-Прогресс"
(лицензия № 071301)**

**119847, Москва, Зубовский бул., 17, офис 68
Ведущий редактор – Кораблева Г.В.**

**Подписано в печать с оригинал-макета 13.01.1997 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Объем 4,5 усл. печ. л. Тираж 4 000 экз. (1-й завод)**
